

Юлия Вознесенская



Всех
скорбящих
радость

Юлия Вознесенская

Всех скорбящих Радость (сборник)

«Лепта Книга»

2015

УДК 271.2-29
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)6-64

Вознесенская Ю. Н.

Всех скорбящих Радость (сборник) / Ю. Н. Вознесенская —
«Лепта Книга», 2015

ISBN 978-5-4444-4341-5

Сборники рассказов Юлии Николаевны Вознесенской «Утоли моя печали» и «Нечаянная радость, или Раб Божий Владлен и другие истории» – под одной обложкой! В книге, как и в жизни, соединяются скорби и радости, потери и находки, неразделенная любовь и верная дружба – и многое, многое другое. Герои всех рассказов абсолютно узнаваемы – они живут рядом с нами, их истории написаны на основе реальных событий. Пожалуй, от многих из нас они отличаются только тем, что не унывают даже в трудных обстоятельствах, уповают на Бога, стараются превозмочь беду и справиться с самыми отчаянными жизненными ситуациями. Даже в скорбях эти люди, чей живой опыт содержится в рассказах из сборника, стремятся найти положительную сторону. Они хотят и умеют радоваться! И радость приходит к ним.

УДК 271.2-29

ББК 86.372+84(2Рос=Рус)6-64

ISBN 978-5-4444-4341-5

© Вознесенская Ю. Н., 2015

© Лепта Книга, 2015

Содержание

Утоли моя печали, утоли...	6
Я строю небесный дом для любимой...	10
Вдвоем на льдине	13
160 сортов аспарагуса	31
Место обитания – склеп	33
Белая занавеска в окне	39
Мамина дочка	42
Большая стирка	45
Красная рубаша с васильками	49
Данилкины жемчужинки	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Юлия Николаевна Вознесенская

Всех скорбящих Радость (сборник)

Допущено к распространению Издательским Советом Русской
Православной Церкви

© ООО «ГрифЪ», оформление, 2015.

© Вознесенская Ю.Н., 2015.

© ООО «Издательство «Лепта Книга», текст, 2015.

Утоли моя печали, утоли...

Они вышли из вагона, помогли друг другу надеть рюкзаки и зашагали по платформе по ходу поезда, и он тотчас за ними тронулся, обогнал их, набрал скорость и исчез в темноте; они стали осторожно сходить по оледенелым ступеням с платформы, держась один за правый, другой за левый поручень, спустились и направились гуськом по узкой тропе вдоль железнодорожного пути. Молча, друг за дружкой прошли они с полкилометра до переезда; тут тропа влилась в грунтовую дорогу, сейчас заснеженную и раскатанную машинами; они свернули по ней направо, в лес, стоявший стеной прямо метрах в ста от насыпи железной дороги. Шли теперь рядом, но все равно молчали. Луна освещала разъезженное полотно дороги и лес по обочинам, под ногами скрипел снег да изредка хрустели льдинки в колеях. Они уже прошли с километр, как позади что-то страшно и тоскливо взвыло:

– У-уйди-и-и!

– Что это, Митя? – спросил Яков, вздрагивая и оглядываясь.

– Да это ж поезд, Яша! Он всегда в лесу так страшно кричит, – ответил Митя.

– Это встречный, должно быть?

– Он самый.

– Зря я с тобой поехал. Ну да теперь все равно, на обратный поезд мне уже не успеть.

– Да, не успеешь, – согласился Митя. – А следующий только завтра.

– Во сколько?

– Да в это же время. У нас тут один поезд на Москву по будням ходит и два в воскресенье, утренний и вечерний.

– Понятно... Зря я поехал.

На это Митя ничего не сказал. Поезд простучал позади и затих. И тут же зауהל потревоженный им филин: «Охо-хо-хо! Охо-хо-хо!». Ему поддакнул сыч: «Угу, угу-гу-у! Угу, угу-гу-у!». Потом все снова стихло, остался только скрип снега под ногами.

– Неприятная какая тишина, – поежился Яков. – Будто на кладбище.

Митя тихонько запел что-то монастырское, восторженно-тягучее, с припевом «Радуйся, Радосте наша, избави нас от всякого зла и утоли наша печали!»

– Мить, а ты помнишь, давным-давно была песня с похожими словами? – И Яков тихонько запел:

*Утоли моя печали, утоли!
Как молитвы, улетают журавли,
Прямо в небо отрываясь от земли!*

– Не помню... А ты пой, пой дальше, Яша, может, и я вспомню!

– Я дальше не помню. Слова запоминающиеся: «Утоли моя печали». А откуда это?

– Это, Яша, название иконы Пресвятой Богородицы – «Утоли моя печали». Есть такая чудотворная икона в Москве. А у нас в монастыре имеется ее список.

– Список – это копия?

– Ну да.

– И она что, тоже чудотворная? – с едва заметной усмешкой спросил Яков.

– Не знаю, Яша. Люди говорят, помогает...

– Утоляет, значит, печали?

– Утоляет. Если кто с верой молится.

– А если веры нет – не утоляет? Вот мне что, не поможет она?

– Как это «веры нет»? Ты разве в Бога больше не веруешь, Яша?

- В Бога-то я верую... Я в Божью справедливость не верю, Митька.
- Вон оно как...
- А ты скажешь, что Бог справедлив?
- Ну...
- Да как же Он справедлив, если забрал от меня мою Ийку? Ведь она для меня была все на свете!
- Да, ты ею жил и дышал, Яша. Она чуждая была, твоя Ия.
- Таких ведь больше и нет. Я как только имя ее необыкновенное услышал – Ия, так и понял, что это чудо мне явилось, а не девушка. Так ведь теперь и не называют никого – Ия!
- Редко, но все-таки называют, в святцах-то имя стоит. Ия по-гречески значит «фиалка».
- Это я давно узнал и звал ее Фиалкой. Весной у нее на могилке, если жив буду, фиалки посажу... Фиалочка моя тихая...
- Да, сокровенной красоты и тишины была женщина.
- А ты знаешь, Митька, ведь Ия никогда не хохотала! И вообще смеялась очень редко. А вот улыбалась – постоянно. Каждая фраза у нее начиналась с того, что сначала ее губы чуточку улыбались, а уже потом она произносила какие-то слова. Сколько раз заговорит со мной – столько раз и улыбнется. Вот скажи, почему твой Бог забрал ее у меня? Ему-то она зачем понадобилась?
- Митя не ответил, только вздохнул.
- И даже детей у нас не было! – продолжал Яков. – Если бы у меня от Ии хоть ребенок остался...
- Ты все думаешь только о себе, Яша.
- Как тебя понимать?
- Вот жалеешь, что детей у вас не было: а ты подумал, каково было бы Ие, умирая, зная, что ее ребенок останется наполовину сиротой или у него мачеха будет?
- Да, об этом я не думал... Так что же, Бог потому и не давал нам детей, что собирался Ию у меня забрать?
- Не знаю, Яша. Но так ведь лучше, что без детей?
- Не знаю, не знаю... Я только одно знаю: злобные, жадные и развратные телки почему-то живут и процветают, а Ийки моей нет – «Бог взял»!
- А ты спроси наоборот, Яша.
- Как это – наоборот?
- Ты спроси, зачем Он тебе ее дал?
- Почему это мне ее Бог дал? Я сам себе жену нашел.
- Как же, как же! Помню я, каких девиц ты до Ии в подружки себе находил!
- Лучше не вспоминай, брат.
- И то верно. А как ты ее встретил, помнишь?
- Случайно встретил.
- У Бога в таких делах случайностей не бывает, Яша. Так ты помнишь?
- Помню, конечно! Еду я по делу, проезжаю по пустому шоссе и вдруг вижу – девушка сидит на обочине и плачет, а рядом велосипед лежит. Время у меня в запасе было, я даже чересчур рано в тот день выехал, а на место надо было явиться в точное время, ну я и остановился – посмотреть, может быть, помочь немного и дальше ехать. А у девушки колесо восьмеркой и нога в крови! Глянул – а у нее перелом! Ну и пришлось спасать-выручать. Велосипед я пристроил на крышу, а Ию поднял, посадил в машину и повез в ближайший поселок, в больницу. По дороге мы познакомились, поговорили друг с другом – и я пропал.
- Пропал?
- Яков на это ничего не ответил, но остановился вдруг и достал сигареты и зажигалку.
- В монастыре ведь курить нельзя?

– На территории – нельзя. Но можно за ворота выйти, если невтерпех.

– Ну, я лучше тут покурю, а там видно будет.

Яков закурил и снова двинулся в путь.

– А ты знаешь, Мить, куда я в тот раз ехал, когда Ию встретил?

– Откуда мне знать, если ты никогда не говорил? Я только видел, что после встречи с Ией ты как-то сразу другим человеком стал.

– Еще бы не стать... Ну, слушай, теперь уже можно рассказать тебе, как она мою жизнь враз переменяла. Ехал я в тот день на крутую разборку и из-за Ии опоздал. А потом я узнал, что из нашей «бригады» с этой разборки никто в Москву живым не вернулся. И на этом все мои «крутые дела» закончились, потому что в Ию я влюбился сразу и наповал, и с нею у меня началась совсем другая жизнь.

– Этого я не знал, Яша. И что же, после этого признания ты скажешь, что Ию тебе не Бог послал?

– Ты хочешь сказать, что это не Ия меня тогда спасла, а Господь через Ию?

– Именно это и хочу сказать.

– Ты знаешь, братец, а ведь похоже на то... Тогда почему Он ее у меня в конце концов отнял, если Сам дал?

– Откуда мне знать, Яша? Это ты у Него спрашивай.

– Да я все время только о том и думаю – почему? За что? Почему именно Ия должна была умереть? Нет, несправедливо это! Немилосердно! Не по-божески как-то, уж простите меня вы оба – и ты, и Бог!

Яков закашлялся и со злобой швырнул недокуренную сигарету в сугроб на обочине. Окурочек зашипел и погас.

– Яш, а вы сколько лет с Ией прожили?

– Двенадцать.

– И все время были счастливы?

– Все двенадцать лет прошли как один счастливый день!

– И к вере ты пришел, и крестился, и обвенчались вы – это ведь все благодаря Ие?

– Конечно!

– Двенадцать лет сплошного счастья. А ведь большинству-то людей семейного счастья и на год едва хватает.

– Да, теперь у большинства это так.

– Ну вот... Но даже не это главное, Яша! Судя по всему, должен ты был в день твоей встречи с Ией погибнуть. Ведь убили бы тебя, если бы ты не повез ее в больницу и там не застрелял?

– Наверняка убили бы.

– Так что в тот день ты должен был умереть. Причем некрещеным и нераскаянным грешником, убийцей, может быть.

– Уж кого-то определенно уложил бы, я ведь с волиной ехал.

– Видишь, как тебя спас и одарил Господь через Ию! Щедр и милостив Господь, долго-терпелив и многомилостив. Он тебя, лютого грешника, остановил на самой дороге к гибели. И не суровостью остановил, а семейным счастьем на двенадцать лет. И ты после этого будешь утверждать, что Господь несправедлив?

– Не знаю, Яшка, что тебе и сказать – я как-то в этом вот ключе обо всем и не думал. Так ты считаешь, что Господь послал Ию, чтобы спасти меня?

– Мне так кажется. Ведь Ия умерла только тогда, когда ты уже твердо стал на правильный путь.

– Твердо стал! – Яков резко остановился, и от этого движения нога его скользнула по обледенелой колее, и он чуть не упал. Митя поддержал его.

– Да, ты на правильном пути, брат!

– Ага, на правильном... Только спотыкаюсь! – усмехнулся Яков, выравнивая шаг.

– Ну, все мы спотыкаемся, а то и падаем. Однако идешь ведь ты за утешением в святой монастырь, правильно идешь, а мог бы отправиться утешаться в кабак или на какой-нибудь там Кипр.

– Так, по-твоему, справедлив Господь? Мне так не кажется...

– И мне тоже! Нет, не справедлив наш Господь! Совсем не справедлив!

– Ты чего это несешь, Митька? Ты уж мне не подпевай, пожалуйста, брат, ты все-таки послушник, тебе нельзя...

– Можно, можно, Яшенька! Я еще и еще раз тебе повторю: не справедлив наш Господь! Милосерден Он. И милосердие Его не только выше всякой справедливости, но и выше нашего с тобой понимания!

– Ты думаешь? Ну, не знаю... Подумать надо.

Какое-то время прошли молча.

– А это что такое? – Яков внезапно остановился. Морозный воздух над дорогой, над лесом, в самом лесу и в светлеющем небе вдруг охнул и загудел. Раз... Другой... Третий... – Это колокол, что ли?

– Да, это колокол наш монастырский. Давай-ка, Яша, поднажмем, чтобы на службу успеть.

Монастыря еще не было видно за лесом, но в той стороне, откуда звучал благовест, уже угадывался просвет между деревьями, и в этом просвете небо засветилось и порозовело – начинался восход.

Они заторопились. К большому колоколу присоединились малые, и в их перезвоне Якову явственно слышалось: «Утоли моя печали, утоли!.. Утоли моя печали, утоли!..»

Я строю небесный дом для любимой...

...И вот она ушла далеко-далеко, в те края, где уже нет ни горя, ни слез, ни болезней. С больничной кровати она поднялась, легкая, помолодевшая, и, конечно, первое, что она ощутила, – это полное и абсолютное отсутствие боли. Я почувствовал это, потому что держал ее за руку в ту таинственную минуту, которую мы на земле называем «смертью». На самом деле, как я теперь понимаю, это что-то совсем-совсем другое.

Мы знали оба, что она уходит, что страшную болезнь победить невозможно. Мне хотелось удрать, спрятаться, исчезнуть – сбежать от жены, чтобы где-то в стороне от ее мучительно-тихой белой палаты, от капельниц, от деловитых сестер, от увядающих в вазах ненужных цветов, принесенных нашими друзьями и родственниками, от скорбного и мучительного ожидания неизбежной минуты расставания, – от всего этого уединиться и просто завывать, напиться, выкричать свой ужас, протест и горе. Но уйти из палаты мне было некуда, а вернее – нельзя...

Как трудно любить, когда, кажется, совершенно нечем проявить, доказать, выказать свою любовь! Не нужны уже ей были ни редкие дорогие лекарства, ни подкрепляющие деликатесы, ни ложные надежды. Ничего ей было не нужно – только моя любовь. Это я видел по ее гаснущим глазам – говорить она уже не могла, только чуть-чуть шевелила губами и иногда пыталась улыбнуться мне. Если я видел тень ее улыбки – я сразу же улыбался ей в ответ и говорил о своей любви.

Приходил священник, иеромонах отец Алексей из ближайшего к больнице монастыря. Он соборовал ее, ей стало чуть легче: видимо, боли перестали так мучить ее, она уже не смотрела на сестру, приходившую делать обезболивающие уколы, с таким напряженным ожиданием. Она даже сделала однажды знак – «Не надо укола!», но сестра все равно ввела обезболивающее по расписанию, у них был свой порядок. Отец Алексей пришел еще раз, читал молитвы над женой, что-то ей говорил – напутствовал, наверное: я на это время вышел из палаты. Потом он позвал меня и причастил ее уже при мне. Она сразу же спокойно уснула. Мы вышли с ним в коридор.

– Батюшка, хоть что-нибудь я могу сейчас для нее сделать? – спросил я.

– Можете. Молитесь.

– А еще?

– Окружите ее своей любовью, как облаком. Забудьте о себе, о своем горе – потом отгорюете, а сейчас думайте только о ней, поддерживайте ее. Помните, умирать – это нелегко и непросто! Да укрепит вас Господь. – Он благословил меня и ушел.

После этого разговора я старался перестать думать о себе. Если подступали ужас, тоска, отчаянье – я обрывал свои мысли и глушил чувства батюшкиными словами: «Потом отгорюешь! Сейчас думай только о ней!»

Я старался чаще прикасаться к ней: отирал пот, смачивал водой ее постоянно пересыхающие губы, что-то поправлял и как можно чаще целовал легонько – ее лицо, лоб, бедную облысевшую головку, ее исхудавшие голубоватые руки... Мы много разговаривали. Вернее, говорил я один, а она слушала. Я вспоминал милые и смешные эпизоды из нашей жизни, вспоминал подробно, не торопясь, со всеми деталями. Я даже пел ей тихонько песенки, которые мы когда-то любили. А когда я уставал говорить, то ставил какой-нибудь диск с хорошей спокойной музыкой, с книгами. Ей нравилась запись пушкинской «Метели» в исполнении Юрского, с музыкой Свиридова. Мы ее слушали раз десять, не меньше. Отец Алексей тоже оставил мне диск – монастырские песнопения о Божьей Матери. Сначала я боялся его ставить – вдруг она испугается, услышав монашеское пение, но однажды решил попробовать. Она слушала спокойно, лицо ее как-то посветлело, а когда пение кончилось, она посмотрела на меня выжи-

дающе напряженно – и я понял, что она хочет услышать все с начала. Потом я купил еще несколько таких же дисков в монастыре, с другими песнопениями. А еще, запинаясь на незнакомых словах, я читал молитвы по молитвеннику, который мне оставил и велел читать жене отец Алексей. Она их слушала с тем же просветленным лицом, что и монастырские песнопения, хотя ничего такого особенного в моем неумелом чтении не было. Но молитвы ей явно помогали. Да и мне они помогали тоже.

Уходила она тихо, поздним вечером. Сначала, на очень короткое время, я даже не успел испугаться как следует, она вдруг задышала трудно, с хрипом, а потом стала дышать уже тише и все реже... реже... реже... Я держал ее за руку и молчал. И вот, когда перерывы между вдохами стали совсем редкими, она вдруг выдохнула, – а вдоха я уже не дождался. Все в ее лице остановилось, рот приоткрылся, и я понял, что душа ее покинула тело. Вдруг я ощутил в наступившей полной тишине какое-то смутение, что-то похожее на страх, заполнивший маленькую палату до краев. И тут я нашел правильные слова – или кто-то мне их подсказал.

– Любимая моя, не бойся – я с тобой! – сказал я тихо. – Я знаю, что ты здесь, что ты слышишь меня. Я люблю тебя, милая моя, как любил – так и люблю! Я знаю, что это тело – не ты. Я любил его, я привык к нему, и я буду, конечно, плакать и горевать над ним, ты уж прости меня. Но я знаю, что настоящая ты – не бедное это тело, на которое мы с тобой сейчас оба смотрим. Ты – не в нем, но ты здесь. Не бойся ничего, только молись как умеешь. Просто говори: «Господи, помилуй!». И я тоже буду молиться о тебе, дорогая. Вот прямо сейчас и начну!

Отец Алексей заранее посоветовал мне купить «Псалтырь» на русском языке, церковно-славянского я тогда не знал, и велел сразу после «отшествия души», как он выразился, начать читать «Псалтырь» – и читать по возможности до самых похорон. «Это очень важно, это будет огромная помощь ее душе!» – сказал он. Палата у нас была отдельная, заплачено за нее было вперед, и потому мне разрешили остаться с моей женой до утра, не увезли ее сразу. Я сидел и читал вслух псалмы, и мне казалось, что она прильнула к моему плечу и внимательно слушает.

Предпохоронная суэта и сами похороны заняли меня полностью, и я не знаю, что было бы со мной, если бы у меня оставалось хоть какое-то свободное время. Но у меня его совсем не было: я читал «Псалтырь» каждый свободный час, а когда выдавались только минуты свободные – читал молитвы. На отпевании и во время похорон я молился непрерывно и... продолжал говорить ей о своей любви.

Поминки прошли очень спокойно и были недолгими. Когда моя и ее мать начали убирать стол после гостей, я вновь принялся читать Псалтырь – как велел мне делать каждый вечер отец Алексей в течение сорока дней. А потом я, наконец, свалился и крепко уснул.

На следующий день я проснулся с ощущением пустоты во всем теле, в мозгу, в душе – и во всей моей жизни. «Вот оно, начинается...» – подумал я. Хотел ехать на кладбище, но по дороге раздумал и поехал в монастырь. На мое счастье, отец Алексей в этот день успел уже посетить больницу, мы с ним встретились и с полчаса ходили по монастырским дорожкам и разговаривали.

– Кончину вашей супруге Господь даровал христианскую, непостыдную, а болезнь, с кротостью переносимая, послужила ей к очищению от грехов. Будем надеяться, что она в Раю. Но кто из нас свят? Поэтому помните, что на вас лежит устроение вечной жизни вашей жены и там. Помогите ей сейчас обустроить свой вечный дом!

– Чем, как? Что я могу теперь, батюшка? Это здесь я мог работать для нее, квартиру купил...

– Помогайте молитвой, милостыней и добрыми делами, творимыми во спасение ее души. Заказывайте сорокоусты, подавайте поминания в монастырях и храмах. Вы были хорошим мужем для вашей жены на земле, продолжайте же им быть и теперь, когда она ушла из этой

временной жизни. Помните о том, что вы встретитесь в Вечности. И как же хорошо будет, когда ее душа приблизится к вашей душе, просияет от радости и скажет: «Спасибо за все, что ты для меня сделал не только на земле, но и здесь. Какой чудесный дом ты для меня построил своими молитвами и добрыми делами!»

Я думал весь этот день до самого вечера. Ходил по Москве, заходил в храмы, ставил свечи, заказывал сорокоусты и поминания... Вечером я прочитал опять «Акафист за единогомершего» и решился: буду строить для жены дом, как сказал отец Алексей!

И я начал строить небесный дом для моей любимой. Я объехал и обошел все монастыри Москвы и везде заказал годовые поминания об усопшей рабе Божией Анне. Нищим я подавал только мелочь – кто их разберет теперь, этих нищих... Зато когда видел по-настоящему бедную старушку в храме, то подходил к ней, давал уже приличные деньги и просил молиться за новопреставленную Анну. Я нашел людей, которые помогают онкологическим больным детям, и тоже начал участвовать в этом добром деле. А потом мне крупно повезло. Совершенно случайно я узнал адрес бедного прихода, строящего храм в деревне М-ке, под Тулой, и стал посылать туда деньги с просьбой молиться о моей жене, а летом, во время очередного отпуска, поехал туда и помогал стройке своими руками. И сорок дней я каждый вечер читал «Акафист за единогомершего», заменяя «его» на «ее», хотя отец Алексей мне ничего об этом не сказал – так мне на сердце легло.

Иисусе, верни душе ее благодатныя силы первозданныя чистоты.

Иисусе, да умножатся во имя ее добрыя дела.

Иисусе, согрей осиротевших Твоею таинственною отрадою.

Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби рабу Твою.

Потом стал читать реже, обычно по субботам, а еще в годовщину нашей свадьбы и в ее день рождения.

Прошел год. Выйдя из храма после панихиды в первую годовщину смерти, я шел в раздумье. Вот и год прошел... Жизнь незаметно стала входить в какую-то новую спокойную колею. И только тут я вспомнил, что собирался после смерти жены полностью отдаться своему горю, выплакаться-выкричаться-напиться, впасть, быть может, в какой-нибудь загул с тоски. А ведь ничего этого не было! Да я даже и не вспомнил ни разу о своем «отложенном горе»... Горе было, но оно сливалось с молитвой, с постоянными мыслями о любимой, с заботами о ее посмертной судьбе, да и просто некогда мне было с ума сходить от горя – надо было ей помогать! А это значило – помогать другим, тем, кто нуждается в помощи. У меня не было времени думать о себе, несчастном, потому что я продолжал весь этот год думать о ней, о ее душе. Я хотел помочь спастись ее душе – а спас, сам того не ведая, и самого себя!

Я часто размышляю о том, в каком состоянии сейчас находится строительство небесного дома для моей любимой. Построил я только фундамент дома или он уже возведен под крышу? Но как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь, я все равно эту стройку не брошу...

А на нашем храме в деревне М-ке уже возводятся купола и скоро будут установлены кресты.

Вдвоем на льдине

Маленькая летняя повесть

Конференц-зал клиники при Институте детской онкологии находился на первом этаже, где не было больничных палат, только приемный покой и кабинеты; располагался он далеко от вестибюля, а потому никогда не запирался; впрочем, в те мирные и смирные годы больницы еще не грабили; да и нечего было воровать в конференц-зале, разве что дорогой концертный рояль, но кто бы его протащил, хоть и был он на колесиках, через длинный коридор первого этажа, мимо приемного покоя и канцелярии, к выходу? Родители Романа Осина заранее, перед тем как сдать его на лечение, договорились с профессором Д.А. Приваловым, главой клиники, что их сыну, знаменитому юному пианисту, «второму Моцарту», как они его деловито аттестовали, разрешат упражняться на рояле по вечерам, когда врачи и сотрудники разойдутся после работы и зал уже точно никому не понадобится. Это было еще до того, как ему был поставлен зловеющий диагноз – саркома Юинга и сделана операция на плечевой кости; вскоре после операции у него обнаружили метастазы в легких, и только тут родители заподозрили, что великим музыкантом их сыну уже не стать.

Теперь, приходя на свиданья, они перестали ему напоминать о необходимости тренироваться каждый день, и Роман уже не упражнялся часами, а просто приходил играть в зал по вечерам в поисках одиночества и играл что-нибудь не слишком сложное по технике, с чем еще справлялись его отекавшие от химиотерапии руки. Приходил он сюда и в те выходные и праздничные дни, когда никто из родителей не собирался к нему приезжать: они посещали его все реже, ссылаясь на занятость, концерты и гастроли. Он не винил их, он их понимал: они измучились и устали от его болезни и своего горя. Их, людей известных, всегда успешных и во всем благополучных, внезапно свалившаяся беда почему-то унижала и оскорбляла, а потому они старались жить как жили прежде, до беды, делая вид, что ничего особенного не случилось: сын тяжело заболел, но это надо пережить мужественно и стойко, как подобает сильным духом людям. Да и младшая сестренка Людочка, обучавшаяся игре на скрипке, хорошенькая и послушная, теперь тоже явно подавала надежды, и родители перенесли свои честолюбивые ожидания на нее и даже начали включать Люду в свои концерты – готовили из нее новую семейную знаменитость. А к Роману два раза в неделю, в среду после обеда и в субботу утром, приезжала домработница Катя: она привозила ему свежее белье, книги из домашней библиотеки по списку, молочные продукты, соки, фрукты и какую-нибудь домашнюю еду по его заказу. Хотя в клинике института кормили очень даже неплохо, но так распорядились родители. Распорядились и успокоились: сын обеспечен в больнице всем необходимым.

В тот день Роман сидел и играл все, что приходило на память. Когда он уселся за рояль, было еще светло, но вскоре начало смеркаться. Вставать и идти включать свет ему не хотелось, и он продолжал играть в сумерках, только музыка становилась все грустнее...

– Пожалуйста, не надо это играть! – раздался вдруг тихий жалобный голос. – Вот это, такое грустное, – не надо!

Он вздрогнул, оглянулся и в проеме приоткрытой двери увидел на фоне светлого коридора невысокую и тонкую серую фигурку, как ему показалось, детскую.

– Ну так иди сюда! Я сыграю тебе что-нибудь другое, а ты послушаешь, – приветливо сказал Роман, жалевший всех детишек, лежавших в онкологии.

Фигурка направилась к нему. Когда она подошла совсем близко, Роман из-за коротких волос, торчавших ежиком, сначала не понял, девочка перед ним или мальчик, но потом раз-

глядел мелкие цветочки на халате и понял – девочка. В клинике все ходили в казенных халатах: девочки – в цветастых, мальчики – в серых и коричневых.

– Так ты не любишь грустную музыку? – Он смотрел на нее, ожидая ответа.

– Иногда люблю, но сегодня – нет, – пояснила девочка. – Сегодня грустный день, а от этой музыки он становится еще печальней.

– Правильно. Эта вещь так и называется – «Печаль королевы», композитор Генри Пёрселл. А какую музыку ты любишь?

– Всякую разную. Только я имен композиторов не запоминаю.

С девочкой все стало ясно, но презирать ее невежество Роман вовсе не собирался, ведь она такая же больная, как и он, и, может быть, тоже обреченная.

– Я почти каждый вечер прихожу сюда и слушаю, как вы играете.

А вот это было уже что-то совсем неожиданное.

– Так почему же вы не заходите в зал, если вам нравится музыка? – Роман уже разглядел, что девочка, похоже, его ровесница, то есть почти девушка, а потому перешел на «вы», поскольку был юноша воспитанный.

– Я стесняюсь, – пояснила девушка.

– Ну так больше не стесняйтесь! – улыбнулся он ласково. – Просто проходите в зал, садитесь и слушайте.

– Тогда можно я постою около рояля? Мне кажется, тут как-то больше музыки.

– Наверное, больше, – согласился Роман, снова улыбнувшись. Девушка встала рядом и облокотилась на крышку рояля.

– Так какая же музыка вам все-таки нравится? – спросил он. – Есть у вас какая-нибудь любимая вещь?

– Есть. Колыбельная Умки.

– Что, простите?

– Да колыбельная же, которую мама-медведица поет Умке! Вы что, не знаете?

Роман не знал.

– Ну песенка из мультфильма «Умка»!

– А вы можете ее спеть?

– Могу, конечно! – И она запела без всякого стеснения:

*Ложкой снег мешая,
Ночь идет большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи —
Белые медведи,
Спи скорей и ты, малыш.*

Голосок у нее был слабый, но верный, и Роман принялся тихонько ей аккомпанировать. Услышав аккомпанемент, она заулыбалась, голос окреп, и она допела до конца:

*Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым, суровым морям.
И всю ночь соседи,
Звездные медведи
Светят дальним кораблям.*

– А славная песня, – удивленно сказал Роман и пропел:

*Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым, суровым морям...*

Дальше он не запомнил.

Она захлопала в ладоши:

– А говорили, что не знаете! Вы и поете так же хорошо, как играете.

– Ну что вы, гораздо хуже! – засмеялся Роман.

– Совсем, совсем наоборот – гораздо лучше! – горячо возразила девушка. Конечно, она сказала глупость, но Роману было приятно.

– А что же мы с вами разговариваем, песенки вместе поем, а познакомиться до сих пор не догадались? Меня зовут Роман Осин, а вас?

– Юлия Качуркина. А у вас какой рак?

Вот этого вопроса в лоб Роман уж никак не ожидал, это было не принято между больными постарше, но все-таки он ответил:

– У меня саркома Юинга.

– У нас в палате у двух девочек тоже саркома Юинга. А у меня редкая опухоль – астробластома. Слыхали про такое?

– Нет, не слыхал.

– Вот видите! – сказала Юлия как будто даже с некоторой гордостью. – Это такая опухоль в голове.

– Вот как... Печально... А название даже красивое: «астра» – это ведь значит «звезда».

– Черная звезда в голове, – вздохнула Юлия. – Подходящее название – от нее у меня часто темнеет в глазах. Мне, наверное, будут делать операцию, а потом облучать. Но сначала надо уменьшить опухоль лекарствами, чтобы она стала операбельной. А вам будут делать операцию?

– Мне уже сделали. Поэтому я так плохо играю.

– Вы – плохо играете?! – Юлия засмеялась. – Я еще в жизни никогда не слышала, чтобы обыкновенный живой человек так замечательно играл! По радио хорошо играют, но ведь это не то... У нас в классе некоторые девочки занимаются в музыкальной школе, но вы играете гораздо лучше, честное слово! Жаль только, что я ничего не понимаю в музыке. Но можно я всегда буду приходить и слушать? Я буду тихо сидеть, не стану мешать.

– Конечно, приходите. А хотите, я вам буду не просто играть, но и рассказывать о музыке?

– Да нет, зачем это мне?... Ой, нет! Хочу, конечно, хочу! Пусть будет музыка с рассказами о ней! – И закончила совершенно неожиданно: – А то я по вечерам все время одна да одна.

– Договорились. Приходите завтра вечером снова.

– Завтра воскресенье...

– Ну и что? Или к вам кто-то придет вечером?

– Нет, ко мне и днем почти никогда не приходят... Просто я подумала, что завтра не будет обхода и процедур, и мы могли бы днем погулять в саду, и вы бы мне что-нибудь про музыку рассказали... А вечером я бы пришла сюда слушать, как вы играете.

– Прекрасно, вот так мы и сделаем! Отправимся на прогулку сразу после завтрака. Хорошо?

– Хорошо. А вы на каком этаже лежите?

– На втором. Двенадцатая палата.

– А я на третьем, в двадцать четвертой. Жалко, что мы не на одном этаже, а то бы ходили в одну столовую. И телевизор тоже могли бы вместе смотреть...

– Да, жаль, – сказал Роман, телевизора не любивший. – Так я буду вас ждать в вестибюле сразу после завтрака.

– Я обязательно приду!

* * *

– Прохладно сегодня! – заметил Роман, когда они вышли на крыльцо.

– Это с утра! Потом разогреет! – быстро сказала Юля. На ней был болоньевый плащик защитного цвета, из-под него торчал больничный халат, а из-под халата – синие спортивные брюки; на голову до самых бровей была натянута красная вязаная шапочка, заканчивающаяся острым уголком с кисточкой; сбоку резинка шапочки была собрана на большую английскую булавку – для красоты, что ли? На ногах у Юли были толстые вязаные носки и все те же больничные тапочки, номера на три больше, чем надо. Сам Роман был одет куда основательней: американские джинсы, кожаная итальянская куртка, под ней толстый шотландский свитер, добротные английские уличные ботинки – все привезено с гастролей.

– Но вообще-то нам холод полезен! – сказала Юля, заметив, что он с сомнением оглядывает ее наряд. Роман улыбнулся: среди больных ходила такая легенда, будто холод останавливает рак, он о ней слышал. Именно на нее он и ссылался, уговаривая соседей по палате не закрывать на ночь хотя бы форточку: самого его родители с детства приучили спать с приоткрытым окном при любой погоде.

– Ну, значит, будем гулять по холоду для восстановления здоровья, – сказал он.

И они до самого обеда гуляли по больничному саду. О музыке они не говорили – Роман решил отложить музыкальное воспитание Юли на вечер, но зато беседовали обо всем на свете. Выяснилось, что невежественная, как он думал, девочка хорошо разбирается в ботанике, так что лекция была не о композиторах, а о растениях.

– Смотрите, вот это молодой каштан! Он скоро выпустит листочки, а потом зацветет.

– Откуда вы знаете? Вы уже были здесь раньше и видели, как он цветет?

– Нет, меня положили сюда осенью, когда все деревья были голые.

– Так почему же вы думаете, что это каштан, а не дуб или липа?

– Ну что вы, у дуба и липы совсем по-другому растут ветки! Видите, почти каждая веточка отходит от ствола сначала вверх, а потом изгибается книзу и на самом конце снова поднимется кверху?

– Вижу – латинской буквой S.

– Точно! Такие ветки бывают только у каштана. У него очень тяжелые цветы, они наклоняют ветку вниз, но сами тянутся вверх – к солнцу. А под каштаном видите вон ту травку? Это мускарики!

Юля присела на корточки над какой-то жесткой на вид темно-зеленой торчащей травкой. Вид у нее был при этом серьезный, сосредоточенный и потешный. Роман не выдержал и тихонько засмеялся. Юля подняла на него удивленные глаза:

– Это вы надо мной смеетесь или над названием?

– Ну что вы, Юля! Название очень даже милое: «мускарики» звучит почти как «сухарики».

Юля продолжала смотреть на него серьезно и выжидательно.

– В этом колпачке и халатике вы ужасно похожи на садового гнома – вот почему я засмеялся. Знаете, в Германии и Австрии в садах ставят глиняные фигурки гномов-садовников: они будто бы копают землю, поливают цветы, сажают их.

Юля подумала и решила не обижаться; она снова склонилась к мускарикам, потрогала ростки и сказала:

– Похоже, что они расцветут раньше, чем зацветет каштан. А знаете, у них есть еще другое название – «мышиный гиацинт».

– Тоже неплохо.

– Мускарики и вправду похожи на гиацинты, только маленькие. А еще бывают водяные гиацинты. – Тут она сделала страшные глаза. – Они растут в тропических болотах и заводях, и в них любят прятаться крокодилы! Какой-нибудь индус захочет собрать букет гиацинтов для своей девушки – а оттуда на него крокодил смотрит! Ужас, правда?

– Совершенно неопиcуемый ужас! А откуда вы все это знаете, Юля?

– Из книг, конечно! Я очень люблю читать книги о растениях.

– Хотите стать ботаником?

– Нет. Если меня вдруг вылечат, то я стану обыкновенным садовником и буду работать в каком-нибудь большом красивом парке. Я могла бы стать очень хорошим садовником...

«А я мог бы стать очень хорошим музыкантом», – подумал Роман, но вслух этого говорить не стал.

Они гуляли долго, до самого обеда.

* * *

Вечером Роман сразу после ужина спустился в конференц-зал, заранее перенес к роялю стул из-за кафедры и поставил его рядом со своим. Потом сел и стал ждать Юлю. Она пришла, увидела второй стул, заулыбалась и сразу же уселась на него, оправляя полы халата. Роман спросил:

– Ну что, ты готова заниматься в музыкальном ликбезе? – В саду они незаметно перешли на «ты».

– Готова! – кивнула Юля. – Я хочу узнать про композитора Сергея Рахманинова.

– Про Рахманинова? Почему именно про него? – удивился Роман и тут же вспомнил, что Рахманинов умер от рака легких. Но ответ Юли удивил его еще больше.

– Я читала, что растения очень хорошо растут под музыку Сергея Рахманинова. Вот мне и интересно – почему?

– Садовая ты голова! – засмеялся Роман и погладил Юлю по короткому ежику. Но тут же испугался и осторожно убрал руку, ведь там, под чуточку колючими светлыми волосами Юли, притаилась она, «черная звезда», злая и коварная опухоль: вдруг Юле неприятно или больно любое, даже самое осторожное, прикосновение к голове? Но она только доверчиво улыбнулась ему. И тогда он начал играть Первый фортепианный концерт Рахманинова. Играл и наблюдал искоса, как внимательно слушает его Юля. Играл он неважно, даже, честно сказать, совсем плохо играл, но то, как его слушала Юля, помешало ему огорчиться. Она не просто слушала, а явно вслушивалась в себя, стараясь понять, что в ней происходит под эти ровные звуковые ряды, переливающиеся, задумчиво мерцающие, как влажная листва в саду под лунным светом... Теперь она была похожа уже не на садового гномика, а на серьезного и печального эльфа: по крайней мере, именно такими представлял эльфов Роман, когда читал фэнтези. Глаза у Юли были большие и с такими огромными ресницами, что было сразу видно – ресницы у нее длиннее волос. Он решил, что это не просто красиво, а по-настоящему волшебнo.

Закончив играть, Роман сказал:

– Если бы мои руки были в форме, я бы сыграл тебе самую знаменитую вещь Рахманинова, его Второй фортепианный концерт. Но пока я тебе просто расскажу немного о композиторе. Родители Сергея Васильевича Рахманинова, и даже его дед, были музыкантами-профессионалами. А это, знаешь ли, не всегда легко, но зато полезно для будущего музыканта, ведь родители были его первыми учителями в музыке.

– А почему «не всегда легко»? – спросила Юля.

Надо же! Он ведь сказал вскользь то, что было главным в биографии Рахманинова ДЛЯ НЕГО, а она, тонкая душа, сразу это почувствовала. Но Роман не стал рассказывать о том, как требовательны были к нему его собственные родители, как даже после самого блестящего

его выступления они принципиально никогда не хвалили его, а всегда умели найти и отметить какие-то огрехи в его исполнении. Они никогда не говорили ему, что гордятся им. Он постоянно жил под напряжением, ожидая от них похвалы и не умея ее добиться. Конечно, он видел, что родители гордятся его успехами, только вот приписывали они их исключительно себе, а он вечно не оправдывал их растущих ожиданий. И он сказал Юле то, чего никогда не говорил никому другому:

– Потому что родителями маленького талантливого музыканта часто руководит не чадолюбие, а славолубие...

– И у тебя родители тоже... такие?

– Именно такие! – ответил Роман.

– Они что, совсем не любят тебя?

– Почему «не любят»? Любят, конечно. Но музыку и успех, известность и награды они любят еще больше.

– А мои любят только водку... Они даже друг друга не любили и развелись, а до меня им и дела никогда не было. Мать еще иногда приходит ко мне, приносит передачку, спрашивает, как идет лечение. Я ей все подробно рассказываю – мама же! А в следующий раз она приходит и спрашивает то же самое, как будто я ничего ей не говорила, – ну ничего уже не помнит! Всю зиму не могла принести мне теплое пальто, а я сто раз просила. Я зимой почти не гуляла...

– Поэтому на тебе такой легкий плащик?

– Ну да! Это чужой плащ, от девочки остался, которая умерла. Родители не стали забирать, ну мне и разрешили взять для прогулок.

У Романа сжалось сердце: он знал больничную примету – нельзя донашивать вещи того, кто уже умер от рака. Надо будет попросить Катю принести для Юли какую-нибудь из его курток и теплый лыжный костюм. Ну и на ноги что-нибудь подобрать, какие-нибудь мамнины старые уличные туфли, что ли, она ведь и сама не помнит, сколько у нее обуви... Катя его поймет и принесет все что надо, они с ней ладят. И еще надо сказать, чтобы фруктов приносила теперь побольше – на двоих.

* * *

После химии Юле стало хуже. Она с трудом ходила, прогулки ей запретили, но все равно почти каждый вечер спускалась в конференц-зал. У нее часто, да почти все время болела голова, и Роман играл теперь для нее немного и очень тихо, а большей частью они просто сидели рядышком и разговаривали. Юля то и дело прикладывала руки ко лбу и вискам, пытаясь снять боль. Однажды она пожаловалась:

– Не помогает – руки горячие! – ее все время слегка лихорадило.

Роман в этот вечер еще не играл, и руки у него были холодные. Он встал, обошел Юлю и сзади обхватил ладонями ее лоб и виски: он очень-очень хотел, чтобы ей стало легче – и боль у нее притихла.

– Как хорошо! Почти совсем не больно стало, – осторожно прошептала Юля. – У тебя врачебные руки.

– А я думал, музыкальные! – тихо засмеялся Роман.

С этого дня Юля часто просила:

– Ромашка, полечи мою бедную голову!

И Роман послушно вставал и «лечил». Он обхватывал ладонями ее виски, осторожно проводил ладонями к затылку и мысленно уговаривал: «Не боли, не боли, пожалуйста!»

В Юлином отделении на третьем этаже старшей сестрой была тощая и строгая Полина Ивановна, которую дети за худобу прозвали Половиной Ивановной. Как-то она зашла в Юлину палату с таблетками, не застала ее, заглянула еще раз и рассердилась:

– Где это гуляет Качуркина? Она же после химии, ей лежать надо!

Девочки в палате сказали, что Юля ушла на первый этаж «к своему жениху со второго этажа».

– Я вот ей покажу «жениха»! И вообще, что это за привычка по этажам бегать? Надо главврачу сказать, чтобы запретил эти хождения. Есть время для прогулок, погуляли – и сидите у себя на этаже, в своей палате, или смотрите телевизор в гостиной. Для чего его вам поставили? Или играйте в тихие настольные игры, как приличные дети.

Назавтра лечащий врач под угрозой выписки строго запретил Юле выходить из палаты. Она написала Роману записку и попросила одну из девочек спуститься после ужина в конференц-зал и отдать ее Роману. Девочка Галя хотела исполнить поручение, но ее перехватила у дверей отделения вредная Половина Ивановна.

– Куда это ты, голубушка, направилась?

– В конференц-зал, на первый этаж! – смело ответила Галя. – Да я на минуточку, Полина Ивановна, мне только записку отдать. Я сейчас же вернусь назад!

– Что за записку? Кому и от кого?

– Роману, который там играет на рояле. Он дружит с нашей Юлей, а ей нельзя выходить из палаты. Она плачет...

– А ну-ка, дай сюда записку! Я ее сама передам кому надо.

И девочка Галя записку отдала – не спорить же со старшей сестрой отделения. Так записка Юли к Роману оказалась сначала у главврача отделения, а потом легла на стол самого профессора Привалова.

– Я разберусь с этими молодыми людьми, – сказал профессор. И разобрался. Он распорядился перевести Юлю Качуркину на второй этаж, в отделение, где лежал Роман, а на ближайшем обходе сказал Роману:

– Ну вот, я перевел твою подругу Юлию Качуркину с третьего этажа, теперь она в одном отделении с тобой и даже лежит в соседней одиннадцатой палате. После обхода можешь сразу идти к ней. Посиди со своей Джульеттой, постарайся отвлечь ее от боли, развлеки чем-нибудь. От концертов для нее пока воздержись: она сейчас очень слабенькая, и волноваться ей нельзя. Пусть больше лежит. А ты просто посиди с ней рядом, сколько хочешь и сколько можешь, поговори с ней, почитай ей что-нибудь. Есть у тебя книги?

– Есть.

– Это хорошо, что вы подружились, это вам обоим полезно.

– А Юля может поправиться, Дмитрий Алексеевич? Есть надежда?

– Надежда всегда есть. Только ее надо поддерживать.

– Я буду стараться поддерживать, Дмитрий Алексеевич! И спасибо вам.

– Не за что, юноша, не за что. Меня очень радует, когда больные ободряют и опекают друг друга, это помогает им бороться с болезнью.

Увидев Романа, входящего к ней в палату с бутылкой сока и тарелкой фруктов, Юля так и расцвела.

– Ромашка! Как ты узнал, что меня перевели в ваше отделение?

– Мне об этом доложили.

– Кто?

– Профессор Привалов.

– Скажешь тоже! – засмеялась Юля.

– Между прочим, он рад, что мы с тобой дружим, и ничего не имеет против.

Роман положил подношение в тумбочку, взял стул и удобно устроился возле Юлиной кровати с таким видом, будто это его законное место и никто его с него не сгонит. Разговаривая с Юлей, он держал ее за руку.

А девочки поглядывали на парочку и завистливо шептались: «Вот это любовь!»

* * *

Юле стало немного лучше, и они опять стали гулять в больничном саду. Расцвели мускарики, они же мышиные гиацинты, на молодом каштане развернулись маленькие лапчатые листочки и поднялись цветочные столбики с бутонами-горошинами. Юля разыскивала в саду все новые и новые растения, показывала и называла их Роману и рассказывала про них удивительные истории. Он с нежностью и восхищением слушал ее. Вечерами они менялись ролями, и тут уже Юля слушала его игру и рассказы о музыке.

По клинике прошел слух, что буквально на днях выпишут семнадцатилетнюю Лену Гаврилову, у которой была благополучно удалена астробластома. Но дело было не столько в операции, сколько в лекарстве, применявшемся до нее; это был какой-то заграничный препарат, который достали за большие деньги родители Лены; лекарство сократило опухоль, и ее, съевшуюся и затихшую, благополучно удалили. «Узнать, узнать, что за лекарство!» – загорелся Роман. Он смело поднялся в палату Лены Гавриловой на третьем этаже и с порога заявил:

– У меня к вам важное дело. Речь идет о жизни и смерти. Вы знаете Юлю Качуркину, которая лежала в двадцать четвертой палате?

– Знаю. А вы друг Юли, музыкант Роман. Про вас двоих все знают.

– А раз вы знаете, то, пожалуйста, помогите нам! Скажите мне, как называется лекарство, которым вас лечили, и где его достали ваши родители, в какой стране?

– Ой, да запросто помогу! – сказала девушка радостно. – У меня осталась наполовину использованная упаковка. Я хотела отдать профессору, но для Юльки вашей – да пожалуйста! Только вы с ней не вздумайте так принимать, покажите сначала врачу – там противопоказаний уйма.

– Ну мы же с Юлей не идиоты! – успокоил ее Роман. – Спасибо вам огромное! Сколько я вам должен за лекарство? У меня дома есть деньги, я попрошу принести...

– Да какие деньги! – перебила его Лена. – Ну их к черту! Я здорова, понимаете? Совсем-совсем здорова! Меня, конечно, еще будут несколько лет держать под контролем, но я-то сама изнутри чувствую – здорова как лошадь! И это я не лекарством с вами делюсь, а радостью! Тем более что вы не для себя его берете.

– Я очень, очень рад за вас, Лена. Это такое счастье для всех, когда кто-то выздоравливает. Уже второй день вся клиника гудит!

– Вот и пусть гудит, как колокол надежды: это же так важно – иметь надежду, правда?

– Да, Лена, это очень важно. Мне и профессор Привалов об этом говорил.

– А у вас есть такая надежда – вылечиться?

– Честно?

– Да, если можно.

– Нет, Лена, у меня ее нет: у меня уже метастазы в легких пошли. Но я очень хочу, чтобы выздоровела и жила Юля!

– Скажите, а вот если бы только один из вас мог выздороветь, вы бы выбрали себя или ее?

– Конечно, ее!

– А почему, Ромочка?

– Ну, наверное, потому, что мне ее жаль гораздо больше, чем себя. Я все-таки видел в жизни много хорошего – крепкую семью, успехи в музыке, победы на конкурсах, награды, ну и дальние страны... А Юля – ничего, кроме бесконечных обид, нищеты и горя.

Лена посмотрела на него долгим взглядом, а потом сказала:

– Зато сейчас она счастливая. Наверное, в этой больнице сегодня только Юля счастливей меня.

* * *

Роман терпеть не мог врать, особенно родителям, но и всю правду он сказать тоже не мог, а потому просто протянул матери коробочку с иностранным лекарством и сказал:

– Мама! На днях из нашей клиники выписалась девушка, которая излечилась с помощью этого вот лекарства. Попробуйте достать его для меня. Возьмите деньги из моих, которые в банке, потому что достать его можно только за границей и там оно тоже дорого стоит.

– О чем ты говоришь, сынок? Неужели мы пожалеем своих денег на лекарство для тебя? – И она убрала упаковку в сумочку.

А через день за Романом пришла сердитая, с красными пятнами на лице главврач отделения и повела его на допрос в кабинет профессора Привалова. Еще с порога Роман углядел на столе профессора знакомую упаковку с крупной надписью «Natulan».

– Проходи, больной Роман Осин. Оставьте нас, Мария Павловна, у нас тут будет крупный мужской разговор.

Роман подошел к столу и сел в кресло для посетителей.

– Так ты что, Роман, решил заняться самолечением, причем не выходя из клиники? Ты разве не знаешь, что больным категорически запрещено вносить свои коррективы в ход лечения? Если каждый станет добывать себе лекарства на стороне и принимать их без согласования с лечащим врачом, знаешь что получится? Получится смертельно опасный ка-вар-дак! Что тебе, дорогой мой пациент, известно о побочных действиях вот этого, в общем-то, и в самом деле прекрасного лекарства?

– Ничего, – честно ответил Роман.

– Так я и думал. Ну так я тебя просвещу на этот счет. Мы не применяем натулан при лечении мальчиков, потому что это может привести к их полной стерилизации. Представь себе, ты поправляешься, но у тебя никогда не будет ни детей, ни тех мужских радостей, от которых рождаются дети.

Роман пожал плечами.

– Мне это безразлично.

– Ах вон что! Ну, теперь понятно, в чем тут дело... И все-таки ты должен был сначала поговорить с врачом. Ты представляешь себе гнев Марии Павловны, которая как-никак в первую очередь отвечает за ход твоего лечения, а потом ужас и возмущение твоей матери? Ведь она, умница, не бросилась сразу доставать тебе лекарство, а сообразила пойти посоветоваться с лечащим врачом.

«Предательница», – уныло подумал Роман о матери.

– Впрочем, это я говорю в общем и целом, чтобы напомнить о недопустимости самолечения. А конкретно... Ну чтобы тебе, дорогой, не объяснить все по-хорошему, не признаться, что лекарство тебе нужно вовсе не для себя, а для Юли Качуркиной? Ведь ты доброе дело задумал, а получился скандал. Беда с этими влюбленными...

Роман вскинул глаза на профессора.

– Ну, чего ты на меня таращишься? Это Мария Павловна не сумела сложить один и один, а я-то как-никак на двадцать лет старше ее и за свою жизнь в онкологии всякого насмотрелся... Давай теперь вместе думать, как нам дальше-то быть. На четверть курса лекарство для Юли Качуркиной теперь у нас есть, а где взять остальные три четверти?

– Может, мы теперь все объясним моим родителям, и они помогут?

– Я на такое пойти не могу, извини, друг мой. Права не имею. Да и сомневаюсь я, что они захотят помогать незнакомой девочке.

Роман тоже сомневался.

– Понимаешь, мы не можем начинать лечение натуланом, если у нас нет лекарства на весь курс. Ну вот что, дорогой, я буду думать, где его раздобыть: может, у знакомых онкологов найду хотя бы по частям. Натулан тоже не всем помогает, так что у кого-то может и остаться небольшая часть после смерти пациента. Будем искать, будем искать...

– Дмитрий Алексеевич! А вы не могли бы отпустить меня на несколько дней домой?

– Отпущу, если ты на этот раз прямо скажешь мне, что ты там задумал, и если твоя идея покажется мне разумной.

– У меня много знакомых среди известных музыкантов и артистов: я хочу выяснить, кто из них в ближайшее время едет выступать за границу, встретиться с таким человеком, все ему рассказать и попросить купить натулан. Вдруг кто-нибудь откликнется?

– Ну что ж. Давай телефон твоих родителей – я им объясню, что ты нервничаешь и тебе полезно будет побыть недельку дома. Это, кстати, объяснит историю с натуланом: я им намекну, что тебя потрясло исцеление Лены Гавриловой и ты по глупости захотел получить то же лекарство. А для Юли я напишу тебе рецепт и поставлю печать института и свою личную печать и подпись. Если купить лекарство за границей окажется непросто, – это может помочь: и меня, и наш институт там знают специалисты.

– Дмитрий Алексеевич, спасибо вам огромное!

– Да пока не за что... И вот что еще, Роман. Меня с самого появления Юли Качуркиной в нашей клинике тревожит ее психический настрой. Ты замечаешь, дружок, что у нее совершенно утрачена воля к жизни? Ты не знаешь, что могло так надломить ее, почему она не сопротивляется болезни и не борется за жизнь?

– Знаю. У нее на глазах распалась их семья, она оказалась никому не нужной, а родители еще и оба алкоголики, так что им просто не до нее...

– Бедные дети, бедные наши дети... Роман, попробуй пробудить в ней желание выздороветь!

– Я стараюсь, Дмитрий Алексеевич.

* * *

Уйти из клиники домой оказалось не так-то просто. Нет, родители отнеслись спокойно к тому, что он побудет неделю «в домашнем отпуске», а младшая сестра Людочка бурно радовалась и ждала его с нетерпением, а вот Юля... Юля, услышав, что он уходит домой на целую неделю, схватила его за руку и заплакала.

– Ну что ты так расстроилась, Юлечка? Меня же не будет всего только семь дней.

– Не уходи, Ромашка... Не оставляй меня одну!

– Послушай, Юля! Я вернусь ровно через неделю, день в день.

– А вдруг я именно в эту неделю умру? Одна, без тебя...

– Незачем и некогда тебе умирать: у тебя впереди еще операция и, возможно, облучение.

– А я боюсь... Нет, умереть я не боюсь, я давно привыкла к тому, что все равно придется, я только не хочу умирать без тебя!

– Что за глупости, Юлечка? Химия прошла благополучно, ты сейчас восстанавливаешься. Чего ты вдруг испугалась, глупенькая?

– Рома, я всегда боялась, что, когда я буду умирать, со мной никого не будет рядом и некому будет поддержать меня за руку. Когда ты появился, я так радовалась, что теперь не придется мне умирать одной. А ты хочешь уйти и оставить меня одну со смертью...

Роман похолодел.

– Ты не умрешь!

– Ромашечка, милый! Это может случиться в любой день. Ты же знаешь, как это бывает с нами...

И тогда Роман решился.

– Юля! Перестань плакать и выслушай меня внимательно. Я уйду вовсе не отдыхать от больницы и не развлекаться. Я хочу достать для тебя то лекарство, которое исцелило Лену Гаврилову.

Он рассказал Юле все. Только она, кажется, не очень обрадовалась тому, что для нее может найтись дорогое и чудодейственное лекарство. Но в конце концов она его отпустила, взяв с него слово, что во время своего «отпуска» он будет думать о ней вечерами, в то самое время, когда он обычно играл для нее на рояле. И это он ей, конечно же, пообещал.

* * *

У Романа были свои деньги и даже счет в банке: ему неплохо платили за выступления, особенно велики были гонорары, полученные на зарубежных гастролях, но сам он снять эти деньги со счета не мог, только вместе с отцом.

Отец выслушал его просьбу в недоумении.

– Мне не жалко, это твои деньги, но я не понимаю, зачем тебе вдруг понадобилась такая крупная сумма? Надеюсь, ты понимаешь, что я вправе тебя спросить об этом?

Пришлось рассказать ему о Юле, и в конце концов отец начал уступать:

– Благотворительности я решительно не одобряю: каждый должен сам зарабатывать себе и на хлеб, и на лекарства, ну а если не получается – лечиться по средствам. Но как мужчина я тебя понимаю: чем не пожертвуешь для любимой девушки! Она хоть хорошенькая, эта твоя Юля?

На это Роман только пожал плечами.

– Ладно, – уже полностью сдался отец, – в конце концов, повторяю, это твои собственные деньги и твоя личная жизнь. Хотя я бы на твоём месте приберег их на будущее: навряд ли у тебя теперь скоро появятся такие высокие доходы, как были в прошлом... Но как скажешь, как скажешь, сын.

Они пошли в банк и сняли требуемую сумму. Теперь встал главный вопрос: кто привезет лекарство из-за границы? Роман несколько дней обзванивал всех знакомых музыкантов, а также знакомых знакомых и наконец выяснил, что ближайшая поездка за границу, в Германию, предстоит пианисту Михаилу Толстому, жившему в Ленинграде. Он ему позвонил и обо всем договорился. Ближайшим ночным поездом он выехал в Ленинград, чтобы обернуться за день и таким же ночным поездом вернуться в Москву. В поезде он почти не спал из-за духоты в купе и всю ночь вспоминал вчерашние разговоры с профессором и с Юлей. «Нет воли к жизни», – вспоминал он и думал, как же и чем пробудить в Юле эту самую волю к жизни?

Миша Толстой вел курс в консерватории и жил неподалеку от нее, возле Никольского собора, в небольшом старинном особнячке, где издавна обитало несколько семей потомственных музыкантов. Роман приехал утром, и пришлось ему ждать, пока у Миши кончатся занятия. Он погулял по Неве, потом побродил по Эрмитажу, купил подарки для Юли, а к обеду поехал на место. Он позвонил с уличного телефона, но Михаила еще не было, и тогда он решил зайти в Никольский собор. Причем зайти не просто так, а поставить свечку Божьей Матери и помолиться о Юле. До этого он заходил в храмы только как турист да еще послушать органную музыку в католических соборах за границей. Отец говорил, что религия – это часть культуры. Роман не верил, что это в самом деле так. Что-то и тогда невнятно шевелилось в его душе, но архитектура и музыка отвлекали, и он особо не задумывался. А вот теперь при виде золотых куполов и крестов над бело-голубыми стенами его вдруг потянуло в храм. «Пойду поставлю свечку и помолюсь», – решил он: их Катя именно так и делала.

Он прошел через весенний сквер, вошел в двери собора и удивился его пустоте. Какая-то старушка сразу же подошла к нему и заявила:

- А служба давно кончилась! Чего надо-то?
- Хочу поставить свечку Божьей Матери за больную. Можно это сделать?
- Можно, можно, отчего же нельзя? Какой иконе-то хочешь поставить?
- Божьей Матери.
- Так их у нас не одна! А кто болен-то у тебя?
- Подруга. Ей четырнадцать лет, и у нее рак.
- Что делается на свете! Ну последние времена пришли – дети раком болеют, Господи помилуй! – Она сама его отвела к свечному ящику, помогла купить свечи, посоветовала поставить еще свечку и святому великомученику и целителю Пантелеимону и икону показала. Он

купил десяток свечей, поставил одну святому целителю, а потом стал просто ходить по храму, отыскивая иконы Божьей Матери и перед каждой ставя свечу и молясь: «Богородица, помоги бедной больной девочке Юле!»

Верил ли он в Бога и Богородицу, в Иисуса Христа? Наверное, все-таки немножко верил, хотя и сомневался. Но он и в чудодейственность заграничного натулана не очень верил, НО НАДО БЫЛО ВЕРИТЬ – иначе зачем все эти хлопоты и все это напряжение сил?

Справа от иконостаса он увидел удивительную икону: Богородица держит на коленях маленького Христа, а рядом, опираясь на ее колени, стоит еще какой-то мальчик, тоже с нимбом на голове. Роман вспомнил малышей в их клинике, то шаливших, как все дети, то смирно лежавших в кроватках, плачущих и зовущих маму. «Дорогая Богородица, сделай что-нибудь для всех наших больных детей, пожалей их и Юлю! Пожалуйста!» Ему показалось на миг, что Богородица на иконе заплакала, но потом он сообразил, что это его собственные глаза наполнились слезами и оттого по лицу на иконе как будто пробежали искры. Он вытер слезы платком, поклонился иконе и вышел из храма.

Михаил уже был дома. Роман передал ему деньги и рецепт от Дмитрия Алексеевича и попросил, если все получится, прислать посылочку с лекарством прямо в институт на имя профессора Д.А. Привалова. Михаил обещал все исполнить.

Вечером Роман сел в поезд и поехал обратно в Москву. В купе опять было душно; стоило ему лечь, как его начал терзать надсадный кашель. Сосед на нижней полке разворчался: «Надо бы правило установить, чтобы таким вот больным билеты на поезд не продавали, а то ездят и заразу разносят!» Роман даже несколько раз выходил из купе, чтобы переждать приступ кашля в коридоре. Откашливался он в носовой платок, а под утро выкинул его в уборную – платок был в кровянисто-черной мокроте. Словом, он опять промучился всю ночь. В десять утра он был в Москве и через пару часов появился в клинике – на два дня раньше срока. По дороге он заехал домой, сказал отцу, что поездка была благополучной, нашел и сложил в дорожную сумку свой лыжный костюм, шерстяные носки и стеганую пуховую куртку, которую ему купили пару лет назад за легкость и непродуваемость, а в какой стране – этого он уже не помнил.

* * *

- Ромашка, ты вернулся? – обрадовалась Юля.
- Вернулся, как видишь. Ну, а ты как? Что делала без меня?
- Ждала и плакала.
- Да зачем же было плакать, Юля? Я ведь говорил тебе, что вернусь, как только добуду лекарство.
- Добыл?
- Кажется, добыл. Через две недели узнаем точно. Во всяком случае, деньги и рецепт от профессора уже в пути. Рассказывай, как ты? Тебе лучше?
- Сейчас стало лучше, когда ты появился. А у нас новенькая, на место Гали положили! Ее тоже Юлей зовут.

Он не стал спрашивать, куда делась Галя, это и без того было ясно – либо в отдельную палату, либо в морг. Он только взглянул на новенькую: совсем маленькая девчушка, лет семи, лежит и смотрит на них испуганными глазами.

– А где остальные соседки?

– На процедурах.

Роман вынул из своей сумки кружку с Медным всадником на боку и коробку шоколадных конфет под названием «Летний сад», с золотым осенним Летним садом на верхней крышке – соответственно названию.

– Это вот тебе подарки из Ленинграда.

– Ой, спасибо! – Юля прижала подарки к груди. – Какая красивая кружка, а коробка какая! Я буду пить теперь только из этой кружки.

– И есть конфеты только из этой коробки! – засмеялся Роман. И добавил шепотом: – Давай угостим твою маленькую тезку.

– Конечно! Ты отнеси ей. Только первую конфетку я сама съем!

– Ну разумеется, я же для тебя вез.

Юля выбрала конфету в золотой обертке и стала аккуратно ее разворачивать, а Роман взял коробку и пошел угощать Юлю-маленькую...

– Здравствуйте, Юля. Меня зовут Роман, я друг вашей соседки Юли и часто буду приходить к вам в палату. Не возражаете?

– Не-а, не возражаю!

– А могу я вам предложить вкусную шоколадную конфету? Я их из Ленинграда привез. Видите – это Летний сад на крышке, очень знаменитое место в Ленинграде.

– Красиво.

– Надеюсь, что будет и вкусно. Не стесняйтесь и угощайтесь! – И он шикарным жестом раскрыл коробку. Юля-маленькая и не думала стесняться: глаза у нее заблестели и забегали, выбирая.

– А можно эту? И эту? И еще вот эту?

– Можно. Это ведь Юля вас угощает, а она у нас добрая.

– Спасибо! – И девочка загребла целую горсть конфет. Настроение у нее заметно улучшилось.

Роман вернулся к Юле. Та улыбалась, уже сидя в кровати. Он протянул коробку, и она тотчас взяла еще одну конфету – первую она уже успела съесть.

– А ты сам-то попробуй!

– И я попробую. М-м, а действительно вкусно! Спасибо, девочки Юли!

– Да за что нам-то спасибо? Это же ты привез конфеты.

– А вы могли мне и не оставить!

Обе Юли засмеялись и снова принялись жевать.

– Юля, а на дворе, между прочим, чудесная погода.

– А почему тогда ты все время покашливаешь?

– Это я в поезде простыл: сама понимаешь, там были сквозняки и духота – самое простудное сочетание. Знаешь что? А при простуде, между прочим, как раз полезен свежий воздух. Что ты думаешь о том, чтобы пойти на прогулку в сад?

– Ромашка, я не смогу – мне же не спуститься по лестнице!

– На лифте спустимся.

– И хожу я еще плохо!

– А мы поедем.

– Как это – «поедем»? На чем?

– Сейчас увидишь! Я пока выйду, а ты надень-ка вот это все – И он выложил на Юлину постель куртку, лыжный костюм и носки, а сам вышел за дверь. За дверью стояла большая и

удобная инвалидная коляска. Роман подождал минут десять, потом постучал, приоткрыл дверь и спросил:

– Уже можно подавать карету, ваша светлость?

– Мо-о-жно! – с ожиданием в голосе протянула Юля, и он распахнул дверь и торжественно вкатил коляску.

– Прошу!

Юля ахнула, а Юля-маленькая засмеялась и захлопала в ладоши.

И они поехали в сад. За те дни, что они пропустили, в саду, как это бывает только в начале лета, произошли большие изменения. Листва деревьев и кустов уже полностью обрела форму по роду своему, хотя и не величину, и молоденькие листочки на солнце казались стеклянными. На клумбе перед входом повсюду полыхали желтые и красные тюльпаны, на газонах расцвели примулы и маргаритки, готовился к цветению их любимый каштан. Под кустами шмыгали дрозды, по всему саду тенькали синицы, за высокой стеной позвякивал проходивший по улице трамвай, но им казалось, что в саду царит теплая солнечная тишина.

У кирпичной стены стояла их любимая замшелая скамья: скамейки вокруг клумбы с тюльпанами у входа в институт уже давно покрасили в зеленый цвет, а про эту, видно, забыли. Рядом росла невысокая черемуха деревцем, ствол у нее был кривоватый, с наростами, а крона была прозрачной, кружевной и казалась совсем молоденькой, и цветов на ней было немного. А может, их уже успели оборвать...

– Расскажи мне про поездку в Ленинград. Со всеми подробностями! – попросила Юля.

– С какими подробностями?

– Ну вот, например, что ты видел в окошке пока ехал?

– Да ничего не видел, Юлечка, я же ехал ночным поездом туда и обратно! А вот днем я зашел в церковь и там видел удивительную икону Божьей Матери: на руках у Нее маленький Иисус, а рядом стоит еще какой-то мальчик постарше. Я хотел спросить у церковных бабушек, кто это, но их не было поблизости, и я просто поставил свечку и помолился за тебя и за всех детей.

– А ты веришь в Бога, Рома?

– Верю.

– Я, кажется, тоже... Я даже иногда верю, что после смерти будет еще что-то, какая-то другая жизнь – но уже без горя и боли.

– Я тоже в это верю. Но и эту жизнь нам надо прожить до самого конца, нельзя сдаваться раньше времени, правда?

– А зачем это – обязательно проживать всю жизнь до конца?

– Чтобы выполнить все, что нам было назначено сделать в этой жизни.

– А мне вот кажется, что для меня ничего и назначено не было. Я родилась уже ненужной. Мать, когда сердилась на меня, прямо так и говорила: «Зря я тогда аборт не сделала!»

«Какой ужас!» – похолодев, подумал Роман, но вслух ничего не сказал, спросил только:

– А хочешь, я тебе достану веточку черемухи и мы ее поставим у твоей кровати?

– Хочу.

Роман встал и принялся оглядывать черемушное деревце:

– Эту? Или вон ту? Какая тебе нравится? О, вон там я вижу двойную пушистую веточку!

– Ромашка, ты ее не достанешь, она высоко!

– Я не достану? Ну вот еще! Непременно достану! Только уступи мне твою карету ненадолго.

Роман пересадил Юлю на скамейку, а потом подкатил коляску к самой черемухе, поставил ее на тормоз, встал ногами на сиденье, пригнул верхушку черемухи и сломил ту самую веточку.

Юля радостно захлопала в ладоши. Он слез с коляски и торжественно вручил ей свой дар. Юля понюхала черемуху и чихнула.

– Знаешь, а мне еще никто никогда не дарил цветов!

– Вот мы оба с тобой поправимся, выберемся из больницы, и тогда я буду дарить тебе цветы хоть каждый день.

– А где ты будешь их брать?

– Ну не в садах же воровать! Это уж я тут, по бедности нашей... Покупать я буду тебе цветы, Юлечка.

– А деньги?

– А деньги я заработаю. – Роман пошевелил пальцами и только сейчас заметил, что руки у него уже не отечные. – Давно я не упражнялся по-настоящему, надо больше играть. Святослав Рихтер говорил: «Если я не играю один день – это замечаю только я сам, если два дня – это замечает моя жена, а если три дня – это слышат все слушатели в зале».

– А сегодня вечером ты поиграешь для меня?

– А как же! И мы вместе споем твою любимую песенку.

И так оно и было: они вернулись с прогулки, пообедали и отдохнули, а вечером Роман отвез Юлю в конференц-зал и играл для нее, и они пели вместе колыбельную Умки.

И оба не знали, что это была их последняя прогулка и последний концерт.

* * *

На другое утро у Юли началось сильное, до тошноты, головокружение. Пришла врач, посмотрела, помрачнела, назначила какие-то уколы, а назавтра на обходе был профессор, почитал результаты последних анализов, тоже тщательно осмотрел Юлю и распорядился перевести ее в отдельную палату.

Роман подстерег профессора Привалова возле его кабинета и спросил:

– Дмитрий Алексеевич! Юле Качуркиной очень плохо. А нельзя прямо сейчас использовать лекарство – то, которое у нас уже есть? А там мой знакомый придет еще. Может быть, натулан поможет?

– Нет, Роман, сейчас не поможет. Слишком ослаблен организм.

– А операция поможет?

– В таком состоянии опухоль трогать нельзя, она сейчас очень агрессивна.

– Что же делать?

– Надеяться на чудо и поддерживать организм: если это обострение пройдет и наступит спокойный период – тогда сразу начнем натулан.

– А мне можно сидеть с Юлей?

– Конечно, можно и даже нужно. Я распоряжусь, чтобы тебя не гоняли.

– Спасибо...

– Это тебе спасибо, Роман. Самое большое, что можно сделать для человека в таком состоянии, – это окружить его любовью, обернуть его ею, как младенца теплой пеленкой, и постараться, чтобы у него на душе было спокойно. А мы постараемся избавить твою Юлю от боли.

– Вы все-таки думаете, что это конец?..

– Не знаю, друг мой, не знаю. Давай будем надеяться на лучшее, но готовиться и к худшему.

* * *

Роман почти не отходил от Юли. Очень медленно, будто капли меда с ложки, тянулись минуты, но зато дни мчались быстро, один за другим, и он даже не успевал их считать. Юля теперь по большей части спала под действием обезболивающих, но и во сне она чувствовала присутствие или отсутствие Романа. Когда он уходил в свою палату – к врачебному обходу, на процедуры или по каким-то своим делам, – возвращаясь, он всякий раз замечал, что лицо Юли за то время, пока его не было, стало напряженным, между глаз пролегла тонкая морщинка, а губы скорбно сжаты. Поэтому он не любил долго отсутствовать и старался, освободившись, сразу идти к ней. Он садился, брал ее за руку, и черты ее лица тут же расправлялись. Если же она не спала, то радостно встречала его, улыбаясь больше глазами, чем губами. Он сидел рядом молча, если Юля спала, а когда она бодрствовала – разговаривал с нею, пел ей вполголоса или читал что-нибудь вслух. Он попросил Катю принести из дома двухтомное «Путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф. Юле книга очень нравилась. Правда, он замечал, что иногда она слушает не текст, а только его голос, а иногда просто засыпает под него, но раз ей было хорошо, он делал вид, что ничего не замечает. Сам он читал в это время «Жизнь взаимы» Ремарка, но ничего полезного для Юли в романе не находил, а потому о нем даже и не заговаривал. Однажды только прочитал ей небольшую цитату: «Человек, которому предстоит долгая жизнь, не обращает на время никакого внимания; он думает, что впереди у него целая вечность. А когда он потом подводит итоги и подсчитывает, сколько он действительно жил, то оказывается, что всего-то у него было несколько дней или в лучшем случае несколько недель. Если ты это усвоил, то две-три недели или два-три месяца могут означать для тебя столько же, сколько для другого значит целая жизнь».

– Это похоже на мою жизнь, – сказала Юля. – Мы всего два месяца с тобой знакомы, но это самые счастливые месяцы из всей моей жизни. Меня до этого никто никогда не любил.

– А я вообще никогда никому не был нужен сам по себе, кроме тебя, – сказал Роман. – Все только ждали чего-то от меня, но никто никогда не ждал меня самого. Вот как ты ждешь, когда я еще только подхожу к двери твоей палаты: я открываю дверь – а ты уже сияешь мне навстречу!

– Так я же издали слышу и узнаю твои шаги, Ромашка! – тихонько засмеялась Юля. – Ты всегда так крепко топаешь, даже когда ты в тапочках...

Позже Роман очень жалел, что не было тогда у них книг, которые могли бы помочь Юле да и ему самому. Он тогда и не знал, что есть на свете книги, а среди них одна самая главная, которые нужны человеку, стоящему у таинственной двери, ведущей в неизвестное посмертное будущее. Или в никуда, в ничто, в черную яму, как думали многие тяжело больные, парализованные лютым страхом смерти. Но ни Роман, ни Юля в это самое пустое и черное «никуда» все-таки не верили, как не верили и в вечную разлуку – ее просто не могло быть, так они чувствовали.

– Я буду там ждать тебя, – говорила Юля. – Но ты не торопись за мной, ты все-таки постарайся выздороветь и пожить подольше, ладно? Ты станешь великим музыкантом, будешь ездить по всему миру, люди будут слушать тебя...

– Нет, Юлечка, великим музыкантом я уже не стану...

– Из-за рук? Как я хочу, чтобы ты выздоровел, Ромашка! Чтобы ты снова играл и был счастлив...

– Юля!

– Нет, Ромашка! Ты обещаю мне, что и без меня постараешься быть счастливым, ладно? Ты просто помни обо мне, помолись иногда обо мне, а больше мне ничего не надо. Ты обязательно женись, и пусть у тебя будет много детей.

– Не надо так говорить, Юля... Я все-таки надеюсь, что мы оба поправимся, станем взрослыми и поженимся. Вот тогда и подумаем о детях.

Юля грустно улыбалась, слушая его.

Пришла бандероль из Ленинграда на имя профессора Привалова, с натуланом. Роман принял это известие равнодушно, но позвонил Михаилу и поблагодарил. Юле он и вовсе ничего не сказал.

Иногда Юля просила его выйти в сад, а потом рассказать ей, что там нового. С таких одиноких и грустных прогулок (он каждый раз забирался в их тихий уголок, садился на их скамью и там плакал потихоньку от всех и от Юли) Роман обязательно приносил тайком какой-нибудь цветок или веточку. Лето вступило в полную силу, и цветов в больничном саду было теперь великое множество. Особенно много было роз разных сортов, мелких и крупных. Юля смотрела на цветы и тихо радовалась. Вот только запахов она уже не чувствовала...

Умерла Юлия Качуркина утром 29 июля. Роман держал ее за руку до самого конца и тихонько пел:

*Мы плывем на льдине,
Как на бригантине,
По седым суровым морям...*

Юля слушала и дышала ровно, только все реже, реже... И вот затихла совсем. Потом пришли санитары и увезли Юлю на каталке.

В этот день к Роману пришла Катя и, увидев, что он лежит у себя в палате одетый и смотрит в потолок, спросила шепотом:

– Отмучилась Юленька?

– Она не мучилась! – ответил он резко.

– Ну и слава Богу, – сказала Катя и перекрестилась. – А ведь в самый День ангела померла твоя девонька! Это верный знак, что пошла она в Царствие Небесное. Ну да отсюда все туда идут, страдалыцы бедные.

Роман как-то пропустил Катины слова мимо ушей, а вспомнил о них много позже, когда научился по-настоящему молиться. Сейчас же он пребывал в шоке, не мог даже плакать: просто лежал и ни о чем не думал, и вокруг него была ледяная пустота.

Но долго лежать ему не дали: пришла сестра и сообщила, что профессор ждет его в своем кабинете.

– Прими мои соболезнования, Роман, – сказал Дмитрий Алексеевич. – И мою благодарность.

– За что? Лекарство ведь так и не пригодилось...

– Благодарность за то, что девочка умерла спокойной и счастливой. Это не всякому обреченному больному выпадает.

– Наверное, так оно и есть, – сказал Роман.

– И, кстати, о лекарстве. Ты прости меня, что я сразу хочу с тобой говорить о деле. Понимаешь, натулан достать у нас очень трудно, почти невозможно, поэтому многие люди готовы заплатить за него любые деньги. Я могу поговорить с родителями тех детей, которым натулан может помочь, чтобы они заплатили тебе. Ты мне это разрешаешь?

– Дмитрий Алексеевич, а Юле-маленькой, которая лежала в одной палате с моей Юлей, натулан может помочь?

– Да, этой Юле он может помочь. Но навряд ли у ее матери найдутся такие деньги: она простая работница с обувной фабрики.

– Это неважно, мне деньги не нужны. Давайте подарим лекарство Юле-маленькой. Тем более что у нее сегодня День ангела.

- В самом деле? Ну что ж, это будет замечательный подарок.
- И скажите ей, что это подарок от Юли-большой.
- Скажу, Роман, обязательно скажу. Спасибо тебе.

* * *

Лето вдруг испортилось, начались дожди. Роман несколько дней сторожил у морга, ждал, когда мать приедет за Юлей, хотел поехать на похороны, но так и не дождался. Зато промок, простыл и слег с температурой и кашлем. Опять он давился кровавой, почти черной мокротой. «Кажется, Юля, я тебя догоняю!» – думал он. Потом кашель стал утихать, а через неделю ему стало легче, но лечащий врач послала его на рентген, на всякий случай. Сделали рентген – и не обнаружили метастазов в легких. Решили, что произошла какая-то ошибка, перепутали снимки, и сделали еще один снимок – метастазов нет. Провели полное обследование – ни опухолей, ни метастазов.

– Поздравляю, Роман! – сказал очень довольный Дмитрий Алексеевич. – Конечно, мы будем держать тебя под контролем, но можешь поверить моему опыту – ты победил болезнь.

«Любовь наша ее победила...» – подумал Роман, но вслух сказать такое постеснялся.

– Итак, ты на днях покинешь институт и вернешься к музыке, – сказал профессор. – Желаю тебе больших успехов в будущем!

– Дмитрий Алексеевич, а я уже давно передумал: я не хочу становиться музыкантом.

– Кем же ты хочешь стать?

– Я стану врачом-онкологом. Буду лечить детей.

– Ну что ж, учись и становись. А когда закончишь медицинский институт, приходи ко мне – я с радостью возьму тебя в ученики.

Прошли годы. Роман Семенович Осин теперь известный хирург-онколог и работает в клинике профессора Привалова. Он женат, у него четверо детей, старшую дочь зовут Юлей. Профессора Осина по утрам можно видеть в часовне святого целителя Пантелеимона, недавно построенной в больничном саду: он всегда молится перед тем, как идти в операционную. Больные дети его обожают.

160 сортов аспарагуса

Рассказ вдовы

Когда стало ясно, что мой муж уходит, я больше всего стала думать уже о его душе. То есть, конечно, я продолжала делать все возможное и невозможное, чтобы помочь ему вылечиться, надеялась на чудо, но меня очень тревожило, что будет с его душой в Вечности. Готов ли он, не слишком ли обременен грехами, не ожидает ли его что-то страшное – ТАМ?

У нас был чудный духовный отец, меня он понимал и поддерживал, а мужа каждое воскресенье приезжал причащать за час до службы. Володя причащался, а потом мы с отцом Николаем ехали в храм. Муж мой очень сурово постился и вообще за последние месяцы сделал такой духовный скачок, что все дивились. Люди приходили к нему не только чтобы навестить, но чтобы поговорить о своих собственных духовных проблемах. Возле него как-то встретились нечаянно два застарелых многолетних врага – и тут же помирились. И кончину Господь дал ему православную: причастился Володя и умер через 20 минут после причастия. Отец Николай только успел от больницы до дома доехать, как я уже позвонила и сообщила о смерти его духовного сына, и пришлось нашему батюшке возвращаться в больницу первую панихиду служить.

Хотите верьте, хотите нет, но первое время мой Володя мне постоянно знаки подавал. Сижу, например, и горюю, что никогда больше не услышу его голос. Потом приходит ко мне мысль заняться разборкой «стенки», чтобы отвлечься. Разбираю, вытираю пыль и вдруг вижу коробку с Володиными магнитофонными кассетами. Он был большой любитель и знаток джаза, а я – нет. Кому-нибудь надо отдать, думаю. Но тут мне вдруг пришло в голову послушать кого-то из его любимых музыкантов, и я взяла коробку и села на диван. Сижу, роюсь в кассетах, выбираю и вдруг вижу странную надпись на одной из них: «Воспоминания об Андрее Тарковском». А муж мой был кинооператор и одно время работал в группе Тарковского. Я схватила кассету, вставила в магнитофон, включила – и услышала голос Володи! Я размножила кассету с его голосом и раздала копии его родным и друзьям.

Примерно то же было с фотографией. Как-то принялась я горевать, что мы не догадались сделать его последние фотографии – не хотели его огорчать. А у него такое дивное лицо стало перед смертью, никогда он таким красивым не был! Но вот не догадались... Сокрушаюсь я, сокрушаюсь, а потом думаю: «Хватит горевать! Надо за дело браться!» А дел было много – надо было все бумаги разобрать, привести в порядок. Машину свою он нашему монастырю завещал, и я взялась за папку с машинными бумагами – и вдруг там нахожу фотографию, пришпиленную к листочку, на котором написано: «Сделать новые права». А это у него было недолгое улучшение где-то за два месяца до смерти, и он тогда заметил, что у него права кончаются. Я-то понимала, что это – пустое, но он пошел и сфотографировался. На фотографии было его новое, духовно преображенное лицо. Я ее увеличила, сделала большой портрет.

Но это все присказки, а рассказать-то я хотела вот что. Через несколько месяцев мы с моим братом и старинной моей подругой поехали в большое паломничество по монастырям. Это было в 1996-м году. Побывали мы в Сергиевом Посаде, в Ниловой и Оптиной пустынях, в Шамординской обители, в Борисоглебском и Пафнутьево-Боровском монастырях, а закончили Псково-Печорской Лаврой и поездкой к отцу Николаю Гурьянову на остров Залита. Дивное было паломничество! И везде, во всех монастырях, во всех храмах, я подавала за мужа годовые поминания, делала от его имени пожертвования (все монастыри тогда еще стояли в лесах) и много денег раздала бедным старушкам с просьбой молиться «за раба Божия Владимира». Не помню уж точно, сколько денег я тогда раздала, но много.

И вот я вернулась из паломничества домой. Сходила на кладбище, конечно, поплакала. Ночевать потом пошла к сыну с невесткой, они недалеко от кладбища жили, а назавтра мы должны были с моими внучками идти на службу в храм. Меня уложили у них в комнате на раскладушке: и вот под утро сквозь сон слышу, как кто-то осторожно садится у меня в ногах на раскладушку. Кто-то из девочек проснулся и боится меня сразу разбудить, думаю я, и открываю глаза... И в ногах вижу сидящего моего Володю! Не очень ясно вижу фигуру в какой-то ослепительно белой одежде, но лицо вижу очень хорошо. И лицо это сияет и полно невыразимой любви. «Володька!» – шепчу я радостно, а он кладет мне руку на руку и говорит: «Тихо! Закрой глаза!» – И я послушно глаза закрываю. – Я пришел поблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала». Я спрашиваю: «А ты где, Володя?» – «Я там, куда ты и хотела меня отправить». «В Раю?» – «Да». «А как там, Володечка? Расскажи!» – «Хорошо, очень хорошо. Но рассказывать нельзя. Закрой глаза и спи». – «Ну, пожалуйста! Хоть чуть-чуть!» Он тихонько засмеялся и говорит: «Там одних аспарагусов сто шестьдесят сортов! А теперь – спи!» Пожал мне руку и исчез, а я мгновенно уснула. Просыпаюсь через какое-то время и чувствую, что моя рука лежит на том же месте и она теплая-теплая, как будто муж только что снял с нее свою руку...

Тут требуется некоторое пояснение. Дело в том, что я очень люблю растения, цветы и много о них знаю, а Володя мой в этом отношении был чудовищный профан. Для него все растения делились на две группы: те, которые ему нравились, все назывались одним словом – «петунья», а те, что не нравились, – «спырынья». Увидит новый цветок и говорит: «Опять какую-то спырыню в дом притащила!» Или наоборот: «О, какая славная петунья!» А тут вдруг – «аспарагусы». Очень это меня удивило.

Обрадованная, я растормошила девочек, велела им одеваться и ехать в храм без меня, а сама вскочила на велосипед и помчалась в цветочный магазин, купила самый роскошный букет, какой там нашелся, и отвезла на Володину могилку. Кладбище, на котором он лежит, кстати, возле самого нашего храма Святых Новомучеников и Исповедников российских, а его могилка – прямо напротив входа в храм.

После службы я иду к отцу Николаю, рассказываю ему свое виденье и спрашиваю, как к этому относиться. «А что вы чувствовали?» – спрашивает отец Николай. «Огромную и тихую любовь его ко мне, свет и покой». Он подумал и говорит: «Любовь и покой? Вот и принимайте спокойно». Но у меня еще одно сомнение было: «А как же аспарагусы, отец Николай? Он же в этом ни бум-бум при жизни был!» Отец Николай засмеялся и говорит: «А Там все быстро учатся!»

С тех пор больше мне никаких знаков не было. Да ведь и не надо!

Место обитания – склеп

Рассказ судьи

Шел бракоразводный процесс. Все время, пока говорил истец, подавший на развод супруг, я слушал его внимательно, но смотрел на ответчицу: кого-то она мне напоминала, эта мрачная женщина в черном платье и черной кружевной шали на коротко, как у боксера, остриженной голове. Она сидела между двумя женщинами, видимо родственницами или подругами. Одна была пожилая, другая на вид гораздо моложе ответчицы, и обе они демонстрировали полное и безоговорочное осуждение истца: поджимали губы, скорбно покачивали головой и переглядывались с понимающим и негодующим видом.

Истец производил впечатление интеллигентного, робкого и крайне загнанного человека. Может быть, еще и потому, что он плохо видел, и глаза его за толстыми стеклами очков казались огромными и беспомощными. Ответчица, казалось, никак не реагировала на слова теперь уже почти бывшего мужа, отвечавшего на обычные вопросы бракоразводного процесса: когда и где был заключен брак, имеются ли дети и спорное имущество... Результат судебного разбирательства, казалось, был предрешен уже тогда, когда на вопрос о прекращении супружеских отношений истец заявил, что они были прекращены два года назад по инициативе ответчицы. Бывшая супруга на это никак не отреагировала: сидела неподвижно, опустив глаза и сжимая в руках маленькую черную сумочку. На вопрос адвоката истца, подтверждает ли она, что между нею и истцом уже два года нет супружеских отношений, она поначалу просто кивнула и только после замечания судьи ответила равнодушно, чуть хрипловатым голосом:

– Да, подтверждаю...

На вопрос, по какой причине это произошло, истец ответил:

– Два года назад в ДТП погибла наша семнадцатилетняя дочь Маша. В тот день Машенька торопилась на последний приемный экзамен в университет. Она боялась опоздать и взяла у матери денег на такси, а меня попросила вызвать машину по телефону. Ушла Маша. А через пятнадцать минут мы услышали в раскрытое окно завывания милицейской машины и скорой помощи. Тут же к нам позвонила соседка, вошла и сказала, что совсем недалеко от нашего дома, буквально через несколько кварталов, в такси врезался потерявший управление грузовик. Мы оба тут же подумали о Маше и помчались на место происшествия; и подоспели мы как раз к тому моменту, когда девочку нашу, лежавшую на носилках и накрытую с головой чем-то вроде черной клеенки, уже грузили в специальную машину. Мы узнали ее по белой туфельке, торчавшей из-под страшной клеенки. Сотрудник ГАИ держал в руках Машину окровавленную сумочку и листал ее документы... – Тут голос его задрожал. Он закрыл глаза, сглотнул, взял себя в руки и продолжил уже спокойно: – Вот с этой трагедии между нами и прекратились нормальные супружеские отношения.

– Ответчица, вы подтверждаете слова истца? – спросил я.

Она опять хотела ограничиться кивком, но затем вспомнила мое замечание и вдруг ответила страстно и напористо:

– Подтверждаю! Это мы виноваты в смерти нашей единственной дочери! Я дала ей деньги на такси, а он – он САМ вызвал по телефону эту проклятую машину. Мы САМИ ее убили!

Все, в общем-то, сразу стало ясно: неизжитое горе... Я подумал, что, возможно, семью еще может спасти хороший психотерапевт, а не судья. Я тут же решил, что суд надо будет отложить и посоветовать истцу попробовать полечить свою супругу. Но пока что процесс следовало продолжать, и я задал следующий вопрос:

– Я понимаю, что первое время вы оба находились в шоке и потому не могло быть речи о супружеских отношениях. Но потом вы, истец, пытались их возобновить?

– Да, пытался и не раз. Я думал, что это может помочь нам обоим пережить наше горе.

– Супруга не пошла вам навстречу?

– Нет. Она возмущенно отвергала все мои попытки.

Ответчица и сейчас подняла на мужа глаза и глядела на него именно с возмущением и укором. Почему-то с осуждением на истца уставились и обе ее подруги или родственницы: похоже, они полностью ее поддерживали в этом вопросе, хотя, казалось бы, им-то что за дело?

– Простите, но вы спали вместе, в одной постели? – спросил я.

– Да, спали. Целый год после смерти дочери и еще немного... Два месяца, если говорить точно. Все это время жена ни о чем, кроме гибели Маши, не могла и не хотела говорить. Мы никуда не выходили из дома, не бывали ни в кино, ни в театре, сами не ходили в гости и никого не приглашали к себе. Жена даже телевизор не разрешала включать. Комнату дочери она превратила в музей ее памяти: оставила там все так, как было при жизни Машеньки, только пыль иногда вытирала. Она увеличила все Машины фотографии и развесила по стенам ее портреты. Каждое утро начиналось с того, что она молча подымалась с постели и шла в комнату дочери. И днем часто туда уходила плакать, а иногда и ночью... Я все надеялся, что это пройдет, что в конце концов жена придет в себя и все наладится. Я ждал, что ей станет легче после годовщины. Не стало...

При этих словах ответчица горько усмехнулась. Соседка слева погладила ее по руке, а соседка справа громко фыркнула.

– Ничего не изменилось и через год?

– Через год и два месяца изменилось. Я перешел спать в гостиную, на диван...

Ну что ж, его можно было понять. Но я задал еще один вопрос, и как сразу же выяснилось, роковой:

– А что послужило поводом к тому, что вы стали спать отдельно от супруги? У вас был перед этим какой-то серьезный разговор на тему супружеских отношений?

– Нет, разговора такого не было. Другое было...

– Что именно?

Истец глубоко, громко вздохнул и нерешительно поглядел на ответчицу.

– Я решил, что об этом надо сказать. Но это так трудно!

– Это имеет отношение к сегодняшнему процессу?

– Да, имеет.

Ответчица явно знала, в чем дело: теперь она с нескрываемой ненавистью глядела на бывшего мужа, сжимая кулаки, а соседки держали ее за предплечья, будто опасались, что она может броситься на него.

– Расскажите суду, что именно случилось через год и два месяца после смерти вашей дочери?

Он вздохнул еще раз и начал:

– Вы видите, я ношу очки. Без них я слеп, как крот. Однажды утром, проснувшись, я не обнаружил их на тумбочке возле кровати. Я лежал один, жена уже встала и ушла, как обычно, в комнату Маши. Я пошарил у себя под подушкой и ничего не нашел. Тогда я почему-то полез под подушку жены – машинально, спросонья, – и там моя рука наткнулась на что-то твердое. Я приподнял ее подушку – и под нею увидел окровавленную сумочку Маши в пластиковом пакете. Оказывается, она год и два месяца лежала рядом с моей головой, а я спал и ничего не знал.

– Это потому, что ты такой бесчувственный! – закричала ответчица. – Ты никогда не любил нашу дочь! Ты посмел выбросить самую дорогую память о ней, ее последние кровинки! А мне ты лгал, что не видел ее! Изверг, дважды дочереубийца!

Слава Богу, соседки крепко держали ответчицу, иначе скандал был бы еще больше. Я призвал всех к порядку. Но на этот раз меня не послушал истец.

– Ниночка, я, конечно же, не выбрасывал Машину сумочку! Я унес ее на работу и спрятал там. Я надеялся, что, когда ты придешь в себя, мы пойдем на могилку Маши и вместе зароем сумочку. Или сожжем ее в лесу...

Ответчица задохнулась от ярости.

– Сжечь последнюю память о дочери?! Ты ей не отец, ты ее предал! Отдай мне Машину сумочку, сейчас же отдай!

– Хорошо, Нина, я тебе ее отдам... Что уж теперь! – И тут истец открыл свой портфель и достал из него небольшой пакет в коричневой бумаге, оклеенный скотчем. Ответчица встала и протянула к нему руки.

– Подождите, истец! – Я возвысил голос. – Будьте добры, положите вещественное доказательство на стол секретаря. – Никаким вещественным доказательством для бракоразводного процесса сумочка, конечно, не была, но я понимал, что ее нужно убрать как можно дальше от бедной ответчицы.

Истец послушно отнес сумочку к секретарю и положил на край стола.

– Верните мне Машину сумочку! – закричала бедная женщина и рванулась к столу. – Отдайте, отдайте мне мое сокровище, мою память о дочери, изверги!

Сообразительный наш секретарь мгновенно оценил ситуацию: он взял пакет и быстро вышел с ним в соседнюю комнату.

Ответчица завывала в голос. Это было страшно.

– Ответчица, – негромко сказал я, – если вы не прекратите кричать, я вынужден буду прервать заседание суда и вызвать для вас медицинскую помощь, чтобы вам помогли прийти в себя. – Я рассчитывал, что ни она сама, ни успокаивающие ее подруги не обратят внимания на мои слова и это даст повод действительно вызвать бригаду скорой помощи, а в остальном я полагался на истца: он объяснит врачам ситуацию и бедной женщине будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Но дело оказалось гораздо хуже, чем я предполагал. Услышав про врачей, ответчица резко оборвала свой жуткий вой, села на место и уставилась на меня напряженным взглядом – она мгновенно взяла себя в руки! К сожалению, это говорило о серьезности ее положения гораздо больше, чем если бы она продолжала кричать, начала кататься по полу или даже бросилась на истца. Мне жаль было и ее, и ее кроткого терпеливого мужа. А вот соседок ее, кто бы они ни были, на чьих лицах было теперь написано просто-таки наслаждение происходящим, – вот этих я бы... Ну хотя бы удалил из зала заседаний. Но, к сожалению, даже такой возможности у меня не имелось, формального повода не было...

И все-таки я сумел отложить слушание дела на месяц и, когда все разошлись, задержал истца и посоветовал ему при первой же возможности передать лечение жены в руки врачей.

– Потерпите еще немного, – сказал я ему, – и попробуйте ее уговорить обратиться к врачам. Или найдите знакомого врача-психотерапевта. В общем, врача – любой ценой. – Последние слова я добавил скороговоркой и совсем тихо, чтобы меня не услышал секретарь.

– Конечно, конечно! – сказал он, рассеянно протирая свои толстые очки. – Надо потерпеть. Только вот сумочку она мне теперь уже не простит. Я ведь тогда на все ее расспросы отвечал, что ничего не знаю. «Может, ты сама в беспамятстве ее куда-нибудь спрятала?» А теперь, когда она знает, что сумочка все время была у меня, – нет, она мне этого не простит!

– Еще вопрос: ваша жена и вы – верующие люди?

– Я – да. Иначе как бы я все это выдержал два года, без Божьей-то помощи, как вы думаете? А вот жена была верующей, но после смерти Машеньки, страшно сказать, но она возненавидела Бога. Ну знаете, как это бывает в таких случаях: «Почему Бог взял именно нашего ребенка? Почему столько негодяев живет и здравствует, а наша чистая, добрая девочка погибла? Как Бог посмел допустить такую несправедливость?» У нее появилась ненависть ко

всем живым и обида на Бога. Полгода она ходила по судам и прокурорам, требуя, чтобы водителю грузовика дали более суровое наказание. А парня осудили, слава Богу, условно. Его вина была лишь в том, что он не проверил колеса, выезжая из гаража, а в одной шине была «грыжа». Парень после того ДТП сильно переживал, у нас просил прощения, письма писал... А Нина, несмотря на это, готова была его прямо убить. Мы ведь очень любили Машеньку, так любили, что даже не хотели иметь других детей. Она была нашей гордостью, смыслом и центром нашей семьи... Я говорил жене, что мы ради Машеньки должны простить бедного водителя, ведь он так раскаивается, а ее это приводило в ярость. Но я сам сходил к нему и сказал, что я его прощаю. А он тоже верующий оказался и обещал молиться за упокой Машеньки всю свою оставшуюся жизнь. Меня это не примирило со смертью Маши, конечно, нет, но как-то... успокоило. Знаете, после смерти нашей дочери я нашел в вере утешение, а Нина, наоборот, потеряла веру полностью. Странно, правда?

– Да нет, такое случается. И все-таки, я думаю, что по-настоящему помочь вашей жене могут только врач и священник – вместе.

Мы попрощались у дверей моего кабинета.

* * *

Я ехал домой, усталый и выжатый как лимон. И, проезжая в автобусе мимо Александрово-Невской Лавры, мимо кладбища и глядя на кресты и верхушки склепов, поднимающиеся над оградой, я вдруг вспомнил, кого мне напомнила ответчица!

Это было много лет назад, задолго до «перестройки». Поступил сигнал с одного из старинных петербургских, тогда еще ленинградских, кладбищ: управляющий сообщал, что на кладбище обосновались бомжи, ночами они жгут костерки в склепах, на которых варят себе «чифирь» – распространенный в среде уголовников крепкий напиток из чая – и готовят пищу, а в качестве топлива используют деревянные кресты и оградки. Это был не только беспорядок, это было крайне опасно: на кладбище мог возникнуть пожар и перекинуться в город. Я тогда еще учился на юридическом и как раз проходил следовательскую практику в районном отделении милиции, вот мне и пришлось участвовать в организованной на кладбищенских бомжей облаве. Мы действительно обнаружили в склепах и доставили в райотдел несколько компаний бомжей. Но один обитаемый склеп мы бы пропустили, если бы позади нас, когда мы уже прошли мимо, не раздавался скрип осторожно приотворяемой двери склепа. Мы рванули к нему, и дверь тотчас же плотно затворилась. Изнутри ее держал засов или замок. Пришлось нам эту дверь взламывать. Мы вошли внутрь и сначала никого не обнаружили, но зато увидели в углу ворох тряпья и рядом дощатый ящик, а на нем бутылку с какой-то мутной жидкостью, половинку черного хлеба и вскрытую банку консервов: возле банки лежали консервный нож и ложка. А на чугунных завитках решетки небольшого оконца в ряд висели ситцевые торбы с каким-то барахлом. Но самое удивительное – в углу склепа фонарь высветил цинковое ведро, полное цветов.

– Благоустроенная квартирka! И где же ее хозяин? Уж не внизу ли, где гробы стоят? – посмеиваясь, спросил мой старший напарник. – Ну-ка, спустись вон в ту дыру!

Под одной стеной и впрямь в полу зияло чернотой квадратное отверстие.

– Может, лучше заставим подняться хозяина наверх? – предложил я. Честно говоря, мне совсем не улыбалось спускаться вниз.

– Верно. – Напарник подошел к краю дыры, наклонился, осветил фонариком и крикнул: – А ну, выходи давай! Все равно тебя, считай, уже взяли!

На краю дыры появились две грязные руки, а потом и лицо существа неопределенного возраста и пола, изможденное и с какими-то страшными, прямо-таки горящими глазами под низко повязанным черным платком: потом уж я сообразил, что это свет фонаря их такими

высветил в темноте. Но в ночном склепе, на фоне черной дыры, уходящей в нижнее помещение, где, может быть, стояли разграбленные гробы с останками покойников (мы туда так и не заглянули, так что не знаю, что там было, чего не было), глаза эти были ужасны. И точно такие же горящие безумным блеском глаза я видел во время сегодняшнего бракоразводного процесса на лице ответчицы. Глаза обитательницы кладбищенского склепа.

Как выяснилось потом, тетка, избравшая себе местом обитания склеп, сделала это не случайно, но и не совсем по своей воле. На вопрос оперативного дежурного, что за нужда загнала ее в склеп, она дерзко ответила: «Жизнь заставила!» Мне досталось допрашивать бомжа, оказавшегося бывшим интеллигентом. Его история уместилась в трех словах: начал пить и спился, жена выгнала из дому. Я предложил ему чаю и сигарету, а он в благодарность рассказал мне историю обитательницы склепа. Оказалось, она прежде была медицинской сестрой и работала в онкологическом центре. Детей у нее не было, но зато был любимый муж. Жили они с ним долго и счастливо и так любили друг друга, что надеялись когда-нибудь умереть в один день. Но вдруг у ее мужа обнаружили рак. Она устроила его в центр, где работала сама, и ухаживала за ним самоотверженно, буквально не отходя от него. Несмотря на это, болезнь прогрессировала и через полгода он умер. Горе ее было огромно. Она стала ходить на его могилу каждый день. Умер он ранней весной, и она целые дни проводила на кладбище: сидела на скамеечке внутри оградки, разговаривала с фотографией мужа. Священник из кладбищенской церкви очень ее жалел. Он кормил ее в трапезной, утешал как мог, объяснял ей, что души усопших не живут под могильной плитой, а находятся у Господа. Он уверял ее, что покойному не нужны разговоры, тем более на кладбище, а нужна молитва. Но бедняга слушала и не понимала: она была и не крещеная, и не верующая. Вскоре она бросила работу, а когда настало лето, стала оставаться на кладбище ночевать: с вечера пряталась от сторожей, а ночью спала на скамейке прямо в оградке. А когда подошла осень и наступили холода – нашла взломанный грабителями склеп и перебралась туда. Познакомилась с бабками, ворующими цветы с могил для продажи, и тоже превратилась в «синюху» – так зовут промышляющих кладбищенскими цветами женщин. Пока она жила в склепе, шло время, и соседи заявили сначала о ее исчезновении, а потом выписали ее из квартиры и заняли ее комнату. Так склеп стал ее единственным местом обитания.

Отвезли несчастную в спецприемник-распределитель, и что с нею стало потом, мне неизвестно. Надеюсь, что тюрьма ее спасла, но кто знает, кто знает...

* * *

А вот история с родителями погибшей Маши закончилась благополучно. Через месяц на новое судебное заседание истец пришел один. Он выглядел лучше, уже не казался таким измученным и даже улыбнулся, когда благодарил меня:

– Если бы не ваш совет, все так бы и продолжалось. Но в тот самый день, когда мы вернулись из суда, Нина закатила мне страшную истерику – с битьем посуды и швырянием мебели, с совершенно безумными обвинениями и угрозами: видимо, сказалось перенапряжение во время суда. И тут я вспомнил ваши слова и сообразил в какой-то момент, когда она билась в комнате Машеньки, выйти из квартиры, позвонить к соседям и от них вызвать скорую психиатрическую помощь. Потом я вернулся в квартиру, оставив дверь открытой. Явились врач с санитарями, бедную жену мою скрутили, сделали ей какой-то укол и увезли в психиатрическую больницу. Первое время я боялся встречи с ней, разговаривал только с врачами, а неделю назад мне сказали, что мне уже можно прийти к ней на свиданье. Она лежала такая тихая, спокойная. Увидев меня, улыбнулась и взяла меня за руку... и попросила прощения. Лечащий врач говорит, что есть надежда на полное выздоровление: Ниночка понимает, что она больна, и хочет вылечиться. И наш батюшка ходит к ней, и она, кажется, начинает его слу-

шать. Он тоже уверяет меня, что Нина поправится. Так что я уж заберу назад свое заявление о разводе. Вы не возражаете?

Конечно, я не возражал!

Белая занавеска в окне

– Папа... Па-па... Па-па-па... – тоненько позвал Кирюша и потом ждал, улыбаясь; вот улыбка у него сохранилась до сих пор: слабенькая такая, растягивающая его бледно-розовые губы на какие-то едва уловимые миллиметры. И все-таки это была не гримаса боли и не случайное произвольное движение, а именно улыбка.

– Сыночек, это не папа – это я! – сказала мама, садясь возле его кровати на стул.

– Папа... Па-па? – Кирилл постарался придать голосу вопросительную интонацию, чтобы мама поняла, что он вовсе не принял ее за папу, а спрашивает, где отец и скоро ли он придет к нему.

– Па-па? Па-па-па-па?

Голос еще немного поднялся, и мама догадалась:

– Ты хочешь спросить, где папа, Кирюша? Папа еще на работе, но тоже скоро приедет. Он обещал с дороги позвонить.

– Па-па... – прошептал Кирилл уже без вопросительной интонации.

– Да-да, сыночек, папа скоро приедет, – поняла его мама. Она взяла его слабую руку и положила себе на ладонь. – Ты чего-нибудь хочешь, Кирюша? У тебя ничего не болит? Пить не хочешь?

Его рука на маминой ладони осталась неподвижной. Когда Кирюша еще мог разговаривать, они разработали систему знаков: если он хочет сказать «нет» – он просто не отвечает, а если хочет сказать «да» – нажимает одним пальцем на ладонь.

– Хочешь, я тебе почитаю вслух? – «Да», – ответил Кирюша легким нажатием среднего пальца. – Что почитать – молитвы? – Кирюша не ответил: до прихода мамы он был один, то есть не совсем один – он теперь один вообще никогда не оставался, а в палате никого из людей с ним не было, никто его не тревожил, и он долго молился в тишине. – Книжку почитать тебе? – «Да», – ответил Кирюша. – Сказку? – «Да». – Хочешь про «добываек»? – «Да». – Мама достала из тумбочки книжку и стала читать с того места, где они остановились прошлый раз. Это была чудесная волшебная сказка про маленьких человечков, живущих в старинном английском доме под полом и добывающих все нужное для жизни у людей. Они читали ее уже в третий раз. Но Кирюша слушал не сказку, а мамин голос и смотрел на белую занавеску в окне. Он знал, что это для всех других, даже и для мамы с папой, всегда задернутая занавеска в больничном окне остается просто белой: сам же он видел на ней четкий золотой силуэт, от которого вверху расходились лучи. От этой смутно видимой фигуры к нему струились покой, тепло и свет, а все остальные, даже мама и папа, не говоря о врачах и сестрах, находились в каком-то серо-голубом тумане. Лиц человеческих он уже не видел и силуэтов людей не различал. Он знал, что в один прекрасный день занавеска в окне отодвинется и он увидит Того, Кто пришел за ним уже давно, но терпеливо ждет, когда Ему можно будет подойти к Кирюше, взять его за руку и увести за Собой. Кирилл думал, что это его Ангел Хранитель, но точно не ведал и даже особенно не думал об этом: однако он знал, что все будет хорошо, когда они встретятся с Тем, Кто его ждет. А пока еще было не время, пока еще он должен был потерпеть и побыть с родителями, чтобы им было легче отпустить его с Тем, Кто ждет.

Впрочем, терпеть ему с каждым днем становилось все легче. С тех пор, как он перестал двигаться, почти ослеп и стал очень плохо слышать, боли он тоже почти не чувствовал. Надо было только лежать совсем неподвижно и дышать очень тихо, и тогда можно было вспоминать, думать часами о чем угодно и молиться – тело его совсем не беспокоило, он не чувствовал, как из капельницы в него вливают лекарства. Хуже было, когда сестры или врачи откидывали легкое одеяло и что-нибудь с ним делали, – тогда старая мучительная боль неожиданно возвращалась. Ненадолго. И хорошо, что ненадолго, потому что Кирилл уже начал отвыкать от

боли, забывать о ней – и она вдруг колола его неожиданно и остро, как большая игла. Тогда он тихонько стонал или кривился от боли, но чаще избавлялся от нее своим способом – молитвой. Он читал самую любимую из всех молитв, которые он успел выучить в больнице, – «Богородице Дево, радуйся!..» И стоило ему сказать мысленно первые слова молитвы, как он сразу же слышал ответ: «И ты радуйся, Кирюша! Потерпи, родной, сейчас тебе станет легче. А скоро боль оставит тебя навсегда, и ты забудешь о ней!» И боль тут же начинала отступать, отступала... и пропадала совсем.

«Он в таком состоянии уже почти не испытывает боли!» – говорил доктор маме с папой, и Кирилл видел, что они начинают доктору верить. Вот и хорошо. Пусть они еще побудут с ним, посидят спокойно рядом, держа руки «семейным замком», пока это еще возможно. Это у них была такая игра, которую он придумал в первые месяцы болезни, когда и самому ему было очень плохо, и родители почти не выходили из состояния паники и страха за него, когда готовы были на любые жертвы, чтобы вылечить единственного сына. Три года они вытаскивали его из болезни, а он подтаскивал их друг к другу. У них не получилось, а вот у него – да, все-таки получилось! Кирилл подумал так и тут же устыдился: ну, это же не сам он придумал себе болезнь, ему ее дали потому, что он просил день и ночь: «Господи, сделай так, чтобы папа и мама не развелись! Возьми от меня все что хочешь, только помири их!» Наверное, у Бога не было другого средства их образумить, а то бы Он, конечно, обошелся и без Кирюшиной болезни. Но Кирилл не жалел о цене, которую заплатил за их примирение: вот уж чего он никак не хотел, на что не согласился бы, если бы его спросили, – так это остаться жить при разведенных папе и маме! В долгие часы без сна он иногда спрашивал себя, не зря ли он так настойчиво просил Бога любой ценой сохранить их семью? Он даже пытался представить себе, как это было бы, если бы он жил с одной мамой: у папы появились бы другие дети, и не было бы уже ни поездок вдвоем с отцом на рыбалку на дальние лесные озера, не было бы их дружной возни в гараже с папиной машиной, ни игры в шахматы по вечерам... А если бы он остался с отцом? Он даже представлять себе не хотел, как это, например, засыпая, не почувствовать, как мама, закончив свою возню на кухне, тихонько входит в его комнату, подтыкает ему одеяло и тихонько целует его в макушку, которую он предупредительно выставлял наружу перед тем как заснуть... Даже сейчас, когда все уже было в порядке, когда папа и мама снова любили друг друга и искали друг в друге поддержки, когда уже и младший братик Костик родился, Кириллу страшно было вспомнить о том времени, когда в семье каждый день звучало страшное военное слово «развод».

Мама и папа думают, что Кирилл стал таким верующим во время болезни, потому что он надеялся выпросить у Бога исцеления. Как бы не так! Ему просто некого больше было просить, чтобы папа с мамой помирились, кроме Бога. Бабушки и дедушки в этом деле были бессильны, да они и не пытались воздействовать на его родителей. Вот и пришлось решать эту проблему Кирюше с Богом...

И запутавшийся в каких-то взрослых тайнах отец, и гордая, оскорбленная и непримиримая мама, узнав о его болезни, так и кинулись друг к другу, забыв и об обидах, и о каких-то там тайнах. Все перестало для них иметь значение, кроме Кирюшиной болезни. Вот тогда-то он и придумал «семейный узел»: Кирилл берет за запястье мамину руку, мама – отца, а отец берет рукой запястье сына. Получается крепкий «семейный узел». Он приучил их тоже думать, что таким «узлом» они все могут удержать друг друга. Поняв, что они помирились, Кирюша не стал просить Господа об исцелении – он оставил это на Его усмотрение. Он даже слегка побаивался: вдруг он поправится, а они возьмут и снова начнут разводиться. Нет, он был хитрее! Он начал просить Бога о младшем братишке. «Если я уйду, а у них останется маленький, вроде как вместо меня, так они уж точно побоятся разводиться!» – сочинял он счастливое будущее для семьи. И Бог ему ответил – вскоре мама поняла, что будет ребенок. И папа ему очень обрадовался! Кирилл все понимал: каждый из родителей надеялся, что заботы

о втором ребенке помогут другому пережить, если случится худшее. Кирюша ничуть за это на них не обижался – он-то знал, что не расстанется с ними, даже когда за ним придут! То есть он все равно будет их любить, даже еще крепче будет любить – оттуда. Но им-то, глупым, это не объяснишь... И вот Костик родился, и теперь ему уже полгода. Братишка еще маленький, но ручонки у него цепкие, хваткие и сильные, и если положить его ручку на мамино запястье, а мама возьмет папу, а папа – Кирилла, то узел получается очень крепкий. И вот он, Кирилл, уйдет – а узел-то и останется!

Жаль, что Костика так редко приносят к нему: с ним сейчас сидят по очереди обе бабушки. Кирюша чувствует, для бабушек это большое облегчение, что не надо сидеть у него в больнице: они обе старенькие и боятся ходить именно в онкологическую больницу, а потому они с радостью взяли на себя все заботы о младшем внуке. Кирилл на них не обижается, ему самому нужны только папа с мамой: он спешил любить их изо всех сил и сам купался в их любви. Он только хотел, чтобы они научились любить его не временно, пока он еще тут, на земле, с ними, – а любить его вечно. Вот когда они поймут, что «семейный узел» не распадется и после смерти, а любовь никуда не пропадает, – вот тогда и распахнется белая занавеска в окне и за ним придут... Скорее бы! Он знает, что ему будет невыносимо хорошо там, за занавеской. Ему уже так хочется туда, где уже не будет никакой боли, а только одна радость, как ему обещал Тот, Кто его ждет, Кто понесет его туда на руках...

Пришел папа. Подошел, сел рядом с мамой и спросил тихо:

– Как он сегодня?

– Все так же...

Кирюша напряг силы и чуть-чуть приподнял руку. Мама поняла, как всегда, первая: она подсунула свое запястье под его ладонь, Кирилл сжал его как мог, и мама подняла свою и его руку и сказала папе:

– Дай нам твою руку!

Папа протянул маме руку, а сам бережно взялся за запястье Кирюши. Папе показалось, что узел слишком хрупкий, и он подложил под него и вторую раскрытую ладонь, такую большую, широкую, надежную.

Кирюша смотрел на чуть колеблющуюся занавеску в окне и улыбался.

Мамина дочка

У начальника нашего отдела Петра Петровича померла жена. Перед тем она долго болела, лежала в больнице, а три месяца тому назад – скончалась. Петра Петровича с тех пор было не узнать – совсем поник человек, стал неразговорчив и даже немного опустил: иногда побриться забывал, а раза два приходил на работу без галстука. Слава Богу, на его работе, а значит, и на работе всего нашего отдела это не сказывалось: наоборот, он теперь уходил в дела с головой, на посторонние разговоры не отвлекался. Курить только стал больше. Но и курил в одиночку – выходил на балкон и там задумчиво стоял с сигаретой, глядя куда-то вдаль потемневшими глазами.

Ходить он стал на работу в одном и том же костюме, который уже через две недели после похорон утратил достойный вид. Но когда кто-то осторожно сделал ему замечание, что пора бы костюм отдать в чистку – не один же он у него, Петр Петрович просто пошел в магазин и купил новый. На размер больше. Или костюм был привычного размера, а сам Петр Петрович похудел и стал на размер меньше, кто знает, только висел тот новый костюм на нем, как на вешалке. Сотрудницы смотрели на него и вздыхали. Так прошел месяц, другой, полгода пролетело, а начальник наш все такой же печальный и только худеет.

– Вам бы жениться надо, Петр Петрович! – осмелела как-то Нина Федоровна, самая старшая из сотрудниц по возрасту.

– Это еще зачем? – нахмурился Петр Петрович.

– Чтобы хозяйка в доме была!

– Дочка и так места себе не находит, переживает очень, плачет по ночам, учиться стала хуже, двойки приносит, а я еще какую-то новую жену в дом приведу? Да ни за что на свете! Хозяйка у нас в доме была, а теперь вот нет, не будет и не надо! – отрезал он. – Так проживем. Как-нибудь.

Кантора у нас скромная, государственная, зарплаты небольшие, и нанять домработницу Петр Петрович, несмотря на начальственное свое положение, никак не мог – сам справлялся. Как умел – так и справлялся. На углу здания, где мы работали, располагался большой супермаркет «Рамстор», и после работы почти все мы, женщины, туда забегали за продуктами. И Петр Петрович с нами. А покупал он всегда почти одно и то же – хлеб, молоко и масло, сыр и колбасу, а в качестве основной еды – замороженную пиццу и сосиски, да еще яйца.

– Вы бы хоть свежего мяса взяли или курочку, Петр Петрович! – посоветовали мы ему, как-то столкнувшись у прилавка с замороженными продуктами.

– А готовить кто будет? – резонно возразил он и отошел от нас, бросив в коляску несколько коробок пиццы. – Вот родственница обещала приехать к нам в отпуск на две недели, тогда и будут у нас настоящие обеды. А пока мы уж так...

И так оно и шло. Изредка кто-то снова намекал Петру Петровичу, что надо бы ему подыскать жену, а он сердито отмахивался и отмалчивался.

Однажды Петр Петрович пришел в кантору уже и вовсе в неприличном виде: один уголок воротничка рубашки был у него подпален утюгом до явственной желтизны.

– Петр Петрович, да вы себе рубашку утюгом сожгли! – приглядевшись к нему, воскликнула Нина Федоровна.

Против ожидания Петр Петрович не смутился, а расцвел и громко, на весь отдел, объявил с сияющей улыбкой:

– Это мне дочка рубашку погладила! Представляете? Девочке девять лет – а она отцу рубашки гладит! Правда, это первая, так что не совсем удачно у нее вышло. Ну да ничего, научится. В обеденный перерыв я в магазин зайду и поищу такую же рубашку, а эту спрячу и

сохраню на память. Первая выглаженная дочкой рубашка! – Он понюхал, погладил любовно рукой сожженный воротничок и гордо объявил: – Хозяйка растет!

С этого дня наш Петр Петрович стал заметно приходить в себя и оживать. Рубашки на нем теперь всегда были свежевыглаженные и уже не подпаленные утюгом. А в пятницу он удивил нас в «Рамсторе»: подошел к нам и деловито попросил:

– А ну-ка, девушки, помогите мне выбрать хороший кусочек мяса для супа!

– Родственница приехала? – спросили мы и обрадовались: ну, теперь нашему начальнику полегче станет!

– Нет! Дочка моя собирается суп варить. Говорит, что помнит, как мама это делала, она же ей помогала на кухне, когда та еще здорова была. И вот решила самостоятельно полный обед приготовить! Но котлеты я ей куплю, конечно, готовые. Поможете выбрать?

– Ох, Петр Петрович! Да разве она справится? А хотите, я приеду и сварю вам обед? – предложила Верочка, молодая и незамужняя наша сотрудница.

– Нет, Вера, спасибо вам большое, но лучше не надо. Не хочу я мою маленькую хозяйку обижать недоверием.

Мы, естественно, помогли ему выбрать и мясо, и котлеты. Вдобавок к покупкам он купил большой торт.

– Зачем вам на двоих такой большой торт? – спросили мы. – Взяли бы поменьше.

– Ну нет! В честь парадного обеда и торт должен быть парадный. Да вы не волнуйтесь: что останется – поставим в холодильник и будем после доедать.

В понедельник все как одна сотрудницы накинулись на Петра Петровича с расспросами:

– Ну, и каким же обедом вас дочка накормила? Рассказывайте!

Петр Петрович расплылся в довольной улыбке и откинулся на стуле, победно оглядев собравшихся вокруг женщин.

– Обед как обед. На первое рисовый суп на мясном бульоне, на второе картошка с котлетами, а на третье чай с тортом.

– И что – все можно было есть? – недоверчиво спросила Нина Федоровна.

– А то! Я ел да нахваливал. Котлетки, правда, самую чуточку недожарились, но сегодня, надо полагать, дожарятся до конца: она же на два дня обед готовила. А картошка была сварена в самый раз и даже посолена в меру. С супом вышла маленькая незадача, и вы, девушки, нам тут должны помочь советами. Доченька моя помнила, что мама минут за десять до окончания варки клала в суп приправы, а вот какие – не заметила. Ну она и положила все подряд: перец, лавровый лист, гвоздику, корицу и мускатный орех. Я-то ей тоже ничем в этом вопросе помочь не мог.

– Мускатный орех – в суп, подумать только! Ну и как же вы, Петр Петрович, ели этот суп? – спросила Верочка с ужасом.

– Ел. Чихал, но ел. Удивительно вкусный был суп, если не считать запаха! Но мы потом тортиком все заели.

– Ну, поздравляю вас, Петр Петрович, с маленькой хозяйкой! – сказала Нина Федоровна.

– Спасибо. Это ведь и вправду маленький праздник был у нас. Но только вы мне теперь подскажите, какие приправы и сколько надо в суп класть, а я уж дочке передам. Заодно посоветуйте, какую бы мне кулинарную книжку для нее купить, чтобы попроще была?

– А есть, Петр Петрович, такая специальная книжка для девочек, называется «Маленькая хозяйка».

– Спасибо, Нина Федоровна! Сегодня же заеду в книжный магазин и спрошу!

С этого времени наш Петр Петрович стал с каждым днем оживать и меняться к лучшему. И курить стал меньше, предпочитая вести разговоры с сотрудницами отдела о домашнем хозяйстве, явно с целью потом передать их советы дочери. А женщины с искренним интересом расспрашивали его, что он ел накануне на ужин и сегодня за завтраком.

– На ужин у нас вчера были просто восхитительные макароны с потрясающим томатным соусом! – говорил он с гордостью. – А на завтрак вареные яйца. Всмятку!

– Вот вы и оживать стали, Петр Петрович, отходить от горя начали, – как-то сказала ему Нина Федоровна.

– Это все доченька, хозяйюшка моя дорогая! Она и сама ожила, плакать по ночам перестала. И учиться, представьте, лучше стала, несмотря на все свои хозяйственные заботы! А я-то как приду с работы и увижу, что она в мамином передничке у плиты хлопочет, обед мне разогревает, – и знаете, Нина Федоровна, – тут он понизил голос, – кажется мне, что за ее спиной невидимо стоит наша мама и подсказывает ей. Как будто помогает. А может, так оно и есть? Ведь она мамина дочка!

Большая стирка

Сны Ольги Павловны

– Мамочка, ну поехали со мной в Изборск, пожалуйста! Как я тебя тут одну оставляю в таком состоянии? Я бы сама с тобой осталась, но у меня же школа, сама понимаешь! – Лидия Николаевна работала директором школы и после похорон отца должна была вернуться к себе в Изборск, а мать никак не соглашалась ехать с нею.

– Не могу, доченька, никак не могу, и не проси! – говорила Ольга Павловна. – Как я папу одного сразу оставляю, могилку его брошу? И дел у меня дома полно: надо все убрать, перестирать...

Квартира родителей и впрямь за время долгой болезни отца была запущена: окна не вымыты с прошлого года, хотя уже был конец мая, шторы тоже давно не стирались, пыли кругом полно.

– Да брось ты все, мама! Поедешь со мной, поживешь на свежем воздухе, отвлечешься немного от горя... А потом у меня будет отпуск, и мы вместе вернемся и сделаем и уборку, и даже ремонт.

– Нет-нет, не уговаривай, Лидуся, не поеду! У меня одной стирки сколько...

– Ну так давай все соберем и в прачечную сдадим!

– Нет, папины вещи я должна сама все перестирать.

– Ну а это еще зачем? Папа никогда ничего не имел против прачечной, он даже сам иногда туда белье носил и приносил обратно.

Лидия Николаевна улыбнулась, вспомнив, как ее отец, бравый капитан первого ранга, помогал «своим девочкам» по хозяйству, когда бывал не в море: сам ходил на рынок за картошкой, делал разный мелкий ремонт в квартире и разбирался с прачечной. Он только требовал, чтобы грязное белье было сосчитано и переписано дома и аккуратно сложено в чемодан: он не то что с узлом каким-нибудь, но и с дорожной сумкой стеснялся ходить по улицам, будучи в морской форме. А без формы он и не ходил никогда, разве что летом в отпуске, на юге.

– Папины вещи надо отдать бедным, – сказала Лидия Николаевна матери. – Нельзя их хранить, это не по-православному.

– Папа твой не такой уж и православный был, Лидуся. Скорее, как я: Бог у нас в душе, а не в храме. Это ты у нас неизвестно в кого такая церковница уродилась, а папа и в церковь никогда не ходил.

– Ходил! И меня водил в детстве в Никольский собор, мы с ним свечи ставили.

– Ах, ну это у них, у моряков, такая традиция была – перед выходом в рейс пойти в Никольский собор и поставить свечку Николаю Угоднику. Собор-то так и называется – Морской.

– Значит, все они были верующими, хотя и не церковными, вот святитель Николай за них и молится.

– Очень помогли молитвы твоего Николая Угодника моему Николаю! Сколько же он страдал, бедный, перед смертью!

– А священника ты так к нему и не позвала, не соборовала его, как я просила?

– Нет, доча, не стала я звать священника. Не решилась, пугать папу не захотела.

– Что значит «пугать»? Как это можно человека священником испугать?

– Он увидел бы священника и сразу догадался, что умирает. Да еще соборование это, которое, говорят, никому не помогает...

– Ты думаешь, мама, умирающие не догадываются, что умирают? Это мы вокруг них заговор молчания устраиваем, головы морочим вместо того, чтобы помочь к смерти подготовиться. И как это «соборование не помогает»? Откуда статистика – «из лесу, вестимо»? Ох, мамочка, мамочка... Соборование если даже не исцеляет человека, то очищает его душу, облегчает ему переход в другую жизнь. Между прочим, многие врачи говорят, что после соборования даже у тяжелых раковых больных часто прекращаются мучительные боли.

– Ну что уж теперь говорить...

– Да, это верно. Слава Богу, хоть похоронили по православному обряду. Ты не забудь, мама, что через два дня будет девятый день, обязательно надо будет панихиду по папе заказать. Я тоже у себя в Изборске закажу.

– Опять панихида? Мне так тяжело было в церкви, доченька, что уж и не знаю, выдержу ли еще одну... Это что, положено так?

– Да, мама. И на сороковой день тоже обязательно. Послушай, давай я на сороковины папины приеду, мы вместе отстоим панихиду в храме, закажем литию на папиной могиле, а потом вместе поедем ко мне.

– Там посмотрим...

Но на сороковины отца у Лидии Николаевны приехать в Петербург не получалось: в школе начался летний ремонт, надо было остаться и приглядывать за рабочими-гастарбайтерами. Она позвонила матери и снова принялась звать ее в Изборск.

– Нет, доченька, не проси, не приеду. Дел у меня много... Стирка большая...

– Что это у тебя, мама, все стирка да стирка! Что же ты там стираешь так долго?

– Да все папины вещи...

Лидия Николаевна поворчала на мать, но смирилась. А перед началом учебного года сама поехала за ней, заставила бросить свою «большую стирку» и все-таки увезла ее в Изборск.

И после первой же ночевки Ольги Павловны в Изборске все разъяснилось. Лидия Николаевна вставала всегда рано. Она привела себя в порядок, помолилась, приготовила завтрак на двоих и пошла будить мать – и застала ее лежащей в постели всю в слезах.

– Мамочка, что случилось?

– Коля... Папа твой... Коля и здесь мне приснился! Я думала, что хоть тут у тебя смогу спокойно спать, без этих мучительных снов! Ведь каждую ночь, ну просто каждую ночь!.. – И она зарыдала, уткнувшись в плечо дочери.

Когда она выплакалась, Лидия Николаевна заставила ее подняться с постели и повела умываться. А за завтраком спросила:

– Так папа, значит, все время тебе снится, да, мамочка?

– Почти каждую ночь. Если только совсем со стиркой замучаюсь да снотворных наглотаюсь – тогда бывает перерыв...

– Расскажи мне, как он тебе снится?

– Ох, доченька, это так тяжело, так тяжело...

– Все равно расскажи, тебе же легче станет.

– Понимаешь, сон мне один и тот же снится. Сначала я слышу звонок в дверь, иду, открываю – а там стоит наш папа. Но в каком виде! Форма на нем полинялая, рукава обтрепаны, нашивок на рукавах и «краба» на фуражке нет, а сама фуражка вообще выгорела до зелени и рубашка грязная, а воротничок просто черный; и ботинки у него не чищены, шнурки в узелках, а галстук в веревочку закручен; сам он худой и небритый, щетина на лице и усы отросли и обвисли. Ты же знаешь, какой аккуратист и чистюля был твой отец, ведь уже и лежа в постели, он сам каждый день брился.

– Господи! – воскликнула Лидия Николаевна, во все глаза глядя на мать, и тоже заплакала.

– Погоди, это еще не самое страшное. А в руках у папы узел: грязное белье, увязанное в серую грубую простыню, по виду бязевую, каких у нас и дома-то никогда не было. И вот он каждый раз протягивает мне этот узел и просит: «Оля! Ну постирай же ты мне белье! Ведь я тут хуже всех одет, перед людьми неловко... Мне тут хорошо, но так стыдно, так стыдно перед всеми за свой вид! Ты уж постирай, Оленька!» И слезы у него по щекам небритым так и катятся... Ну я и просыпаюсь уже в слезах и потом целые дни напролет плачу. Все-все его белье я перестирала-перегладила, все рубашки его накрахмалила! Костюмы его не стала в чистку сдавать, а сама своими руками выстирала и потом тщательно отпарила. И ничего не помогает! Я думала, что хоть здесь он перестанет мне снится, так ведь нет, вот в первую же ночь и приснился... – И Ольга Павловна опять горько заплакала.

– Ах, мамочка, глупенькая ты моя мамочка! Неужели ты не понимаешь, о чем папа тебя просит, о какой стирке он говорит?

– Об одежде, о белье...

– Да нет же! Это только образ того, что ему от тебя надо, – ну, чтобы ты догадалась и сама поняла.

– Что я должна понять?

– Что надо молиться Богу о прощении его грехов – вот о какой стирке речь!

– Ты думаешь?

– Да я в этом уверена! Папа говорит с тобой тем языком, который тебе понятен. Одежда, белье – это символ его нераскаянных, неотмытых грехов.

– А почему же он снится не тебе, ведь ты у нас в этом лучше разбираешься – в грехах?

– Да потому, что я – его дочь, а дети, конечно, могут и должны молиться за родителей, но только об их грехах им нечего размышлять. А вот ты – ты совсем другое дело: кто лучше знает грехи мужа, чем его жена? Вы же с ним были и остались одна душа.

– Это верно, мы всю жизнь с ним душа в душу прожили. Так что же я должна теперь делать, по-твоему?

– Отмаливать папины грехи. Записки на Литургии за него подавать, поминание в храмах и монастырях заказывать, милостыню раздавать. Но прежде чем все это делать, самой тебе исповедаться надо и причаститься.

– Ох! Я ведь последний раз причащалась в двенадцать лет, когда еще твоя бабушка была жива. С тех пор полвека прошло! Но я готова. В Бога-то я верю как-никак... Да пора уже и мне о душе подумать, годы напоминают... Так ты думаешь, это ему поможет, если я начну жить церковной жизнью и о нем молиться?

– А вот сама увидишь!

В пятницу после занятий Лидия Николаевна поехала в Печоры: там жил и служил ее духовник, иеромонах отец Василий.

– Батюшка, дорогой, а у меня для вас подарок! Я к вам одну заплутавшую душу хочу привести на беседу, ну и на исповедь, если получится.

– Еще одну заплутавшую душу? Да уж ясно, какие от вас подарки мне, старому! Нет чтобы носочки связать батюшке и успокоиться на этом, как другие прихожанки, а вы все души да души мне доставляете! – засмеялся отец Василий. – Душа-то хоть православная на этот раз?

– Православная. И даже когда-то в храм ходила и причащалась.

– И как давно эта ваша душа у исповеди не была?

– Пятьдесят лет, батюшка!

– Ахти мне, иерею немощному! – ахнул батюшка. – Да, вот уж подарочек! Ну ведите, ведите свою заблудшую душеньку. И поскорей ведите, а то уведут лукавые в сторону. Вы-то уж знаете, как они действуют, когда кто-то в храм направляется.

– Бесовские шлагбаумы?

– Они самые.

– Так можно ее прямо завтра на всюнощную привести, чтобы потом вы с нею побеседовали?

– Нужно! Ведите!

Но узнав, что «заблудшая душенька» – родная мать Лидии Николаевны, отец Василий беседу в субботу отменил.

– Едем прямо сейчас к вам домой! – заявил он и быстрым шагом направился к своей машине, старенькой, разбитой на псковских дорогах «Волге». Они поехали в Изборск, домой к Лидии Николаевне. Там он имел сначала долгую беседу с Ольгой Павловной, а потом исповедал ее. А после исповеди еще чайку с ними попил и о снах с ними поговорил.

– Про такие сны я часто слышу. Мы о них ничего не знаем: может, это собственные наши душа и совесть нам через сон подсказывают, как именно мы можем и должны нашим умершим послужить, а может, это Сам Господь Бог, по великому и неизъяснимому Своему милосердию, дает нашим дорогим отшедшим возможность во сне поведать нам о своей нужде. Святые отцы учат большой веры снам не давать, потому что сны и бесами насылаются. Но такой сон, следствием которого явится ваш собственный приход в храм и ваша усиленная молитва за усопшего супруга, – это уж точно не от бесов!

В эту ночь Ольге Павловне снова приснился муж. Он стоял все в той же заношенной морской форме, но уже не плакал и ни о чем не просил – только смотрел на Ольгу Павловну умоляющими глазами. На следующий день, в субботу, она на местном автобусе поехала с дочерью в Печору на всюнощную, а после службы еще раз исповедалась и потом дома слушала, как дочь читает длинные молитвы – «Последование ко святому причащению». Она так устала от новых впечатлений, что после молитв уснула сразу и очень крепко, и в эту ночь ей ничего не снилось.

В воскресенье она причастилась – впервые после пятидесятилетнего перерыва; на этой Литургии она впервые подала записку за упокой раба Божьего Николая. А в понедельник она на рассвете пришла в комнату Лидии Николаевны и разбудила ее.

– Доченька, проснись! Ты только послушай, что мне только что приснилось! Снова во сне я услышала звонок, открыла дверь и увидела твоего папу. Он стоял такой радостный, помолодевший, свежевыбритый, в новенькой форме и белоснежной рубашке. А в руке у него был маленький чемоданчик, с которым он обычно уходил в рейс. Помнишь?

– Помню, мама. Он еще после рейса в нем рубашки в прачечную относил.

– Вот-вот! И говорит он мне: «Спасибо тебе, Оленька! Теперь и я одет не хуже других и мне больше не стыдно. Вот еще бельишко осталось, ты уж постирай, ладно?» – и протягивает мне чемоданчик. А я его беру и тут же просыпаюсь. И у меня так легко-легко на сердце! Я никак больше не могла оставаться в кровати, ты уж прости, что я разбудила тебя!

– Ничего, ничего, мамочка! Правильно сделала, что меня разбудила. Ну вот, теперь ты веришь, что исполнила его просьбу, правда?

– Да, мне тоже так кажется! – сказала Ольга Павловна и... заплакала. Но это были уже слезы облегчения и радости.

С тех пор такие сны Ольге Павловне уже больше не снились.

Красная рубаша с васильками

«Страшнее моего горя и на свете не бывает!» – сказала по телефону моя подруга Татьяна, когда я позвонила ей в Вятку, узнав о ее несчастье. В общем-то я с нею была согласна: какое горе может сравниться с потерей единственного сына, двадцатитрехлетнего здорового молодого человека, только что закончившего институт, успешно начавшего самостоятельную жизнь и, между прочим, собиравшегося вот-вот жениться?.. И смерть какая-то странная, наводящая ужас и оторопь: он скончался во сне от остановки сердца, ничем перед этим не болея ни одной минуты, и причину смерти врачи установить так и не смогли. Потеря маленького ребенка – страшная беда и тяжелое переживание, но у молодой мамы есть хотя бы надежды родить другого, а вот у Татьяны, которой было уже далеко за сорок, такой надежды уже не было. Да и муж ее умер лет пятнадцать тому назад, тоже, кстати, от остановки сердца во сне, как и Владик. Больше она замуж не выходила и даже не пыталась, решив всю жизнь отдать единственному сыну...

Часами беседовали мы с Татьяной по телефону; чем я еще могла помочь ей, если между нами сутки езды на поезде? Так прошло полгода, и я видела, что горе ее остается таким же безысходным и даже не притупляется. Надо было изловчиться, выкроить время и просто поехать к ней и там на месте смотреть, что можно сделать. В общем, отправилась я в Вятку, по дороге в поезде размышляя, как же мне поддержать мою подругу, чем ее утешить, как помочь выползти из-под придавившей ее каменной беды? И как объяснить ей, маловерной, что в таком горе может помочь только одно – молитва Господу? Причем поможет это и ей, и ее сыну. Вот последнее объяснить оказалось труднее всего.

– Танюша, но ты же верующий человек, ты же должна понимать, что сын тебя покинул не навсегда, придет время – и вы с ним встретитесь! А сейчас ты можешь помочь твоему Владiku молитвами, милостыней, – завела я по пятому кругу, когда мы наполнили водой и включили третий электрочайник.

– Это ты так говоришь!

– Не я, а Православная Церковь и Святое Писание.

– Ну да, я знаю, слыхала, читала... И батюшка в храме мне то же самое сказал, когда Владика отпевали... Но я все время думаю: а что если наша Церковь ошибается, и никому из умерших молитвы оставшихся на земле на самом деле не помогают?

– Слезы твои, думаешь, Владiku очень помогают?

– Да нет, конечно. Только как же мне не плакать?

– Плакать о нем ты будешь всегда, и через двадцать лет вспомнишь и всплакнешь, но это нормально. Однако забиваться в угол и делать из этого плача образ жизни – это уж точно бесполезно для него! Вместо того, чтобы сидеть в темном углу и плакать, ты могла бы съездить в паломничество по монастырям, помолиться о сыне нашим святым, заказать везде поминания за Владика, раздавать за него милостыню... Ты разве уверена, что у него не было грехов? Он ведь не успел покаяться перед смертью...

– Да, он, слава Богу, умер во сне, скоропостижно... Я утром подошла его будить – а он холодный! Одно мне утешение – не мучился.

Насчет предпочтительности скоропостижной смерти без покаяния я с Татьяной была решительно не согласна, но спорить уж не стала.

– Ты вот о чем подумай, Танюшка: сыну твоему сейчас очень нужны твои молитвы, ведь он не успел перед смертью покаяться, получить отпущение грехов. Ведь Владик твой был не особенно церковным человеком, вроде тебя самой...

– Ну уж совсем нецерковными нас никак нельзя назвать! На Пасху мы вместе с сыном всегда в храм ходили и куличи святили. А на Крещение я за святой водой обязательно хожу – вон она у меня до сих пор под иконой стоит...

– На книжной полке.

– Ну и что? У меня ж на этой полке не женские романы или детективы стоят, а полное собрание сочинений Льва Толстого! И разве по церковным правилам нельзя иконы и святую воду на книжных полках держать?

– Можно, отчего нельзя? Хотя лучше, конечно, было бы устроить молитвенный уголок – «красный угол», как говорили в старину... Вставала бы утром, зажигала лампадочку и начинала день с молитв Богу о своем сыне. Как бы ты этим Владика утешила, помогла ему!

– Ничего ему теперь не нужно, сыночку моему, и никакие молитвы ему не помогут!

– Как же ты ошибаешься, Танюша... Не молились бы мы, православные, постоянно, и в храме, и дома, за наших дорогих усопших, если бы не верили, что им помогают эти молитвы. Уж за две-то тысячи лет Православная Церковь успела выяснить, что православным полезно, а что нет! Нужны молитвы нашим умершим, очень нужны.

– А вот я в это не верю, не могу поверить! Пустая болтовня!

– А я – верю. И миллионы православных по всей земле верили и верят и ежедневно возносят молитвы Богу, чтобы Он отпустил грехи «всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения православным христианам».

– Да какие там у моего Владика были грехи! Он был умный и чистый мальчик.

– Он был очень хороший сын и умница, это так. Но уж поверь, все мы, кроме святых, предстаем перед Богом не в белоснежных ризах, а в рубище, и всем нам нужно прощение грехов. Вот во время Великого поста в храме поют: «Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в оны; просвети одеяние души моея и спаси мя...» Тебе понятны эти слова, Танюша?

– Честно говоря, не очень. Отдельные слова только – «чертог украшенный», «одеяние души»...

– Тогда послушай, как переложил эту молитву на стихи поэт Вяземский! – И я прочла ей:

*Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею,
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать перед Тобой.
О Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой.
Я нищим шел земной дорогой,
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам своим причти.*

Русскую классическую поэзию Татьяна любила, она слушала меня внимательно и задумчиво.

– Вот это понятно. Поэт хотел сказать, что перед Богом мы все грешные и духовно одеты не лучше нищих или бомжей.

– Именно!

– Значит, и мой Владик... тоже?

– Ну не благочестивей же он Петра Андреевича Вяземского!

– Да нет, он был обыкновенный современный молодой человек.

– А современные молодые люди отнюдь не безгрешные. Так что и у Владика «одеяние души» навряд ли было в полном порядке перед смертью.

– Наверное... Но что ж я-то теперь могу с этим поделать?

– Татьяна! Так я же тебе именно об этом и толкую уже третий час! Ты можешь помочь ему молитвами о прощении его грехов, вольных и невольных.

– Если бы я была твердо уверена, что ему нужны мои молитвы и что они и вправду ему помогают, я бы день и ночь молилась. Но как это проверить?

– А ты поверь не проверяя!

– Не получается у меня...

– Сомнения мешают?

– Да, они самые.

– А пока ты ТУТ сомневаешься, он ТАМ печалится, что любящая мать не хочет помочь ему и даже не пытается обновить его духовную одежду... Знаешь, мне вспомнилось одно подходяще к случаю сказание. Вот послушай! – И я рассказала Татьяне старинную поморскую сказку.

* * *

На южном берегу Студеного моря, так в старину называлось Белое море, стояло рыбацкое селенье Олениха, и жила в нем красавица-вдова Василиса с сыном-рыбаком Василием, Васильком. Муж ее погиб обычной для рыбака смертью: вышел в море на лодье со своей рыбацкой ватагой тюленя бить и не вернулся. И никто из рыбаков с той ловли не вернулся, и лодья пропала, даже щепок к берегу не прибило. Осталась Василиса одна с сыночком Васильком. Сына она любила так крепко, что замуж больше ни за кого не пошла, хотя сватались многие, и все свое нерастраченное сердце отдала молодая вдова сыночку-сиротинке. Но как ни лелеяла сына Василька вдова Василиса, а как подрос парнишка, пришлось и ему взяться за рыбацкий промысел, только не за тюлений, а за «вешний». В Оленихе этим делом занимались те рыбаки, у кого не было своей лодьи. Промысел назывался «вешним», а рыбаков называли «вешняками», и был этот труд куда как нелегкий и опасен. Еще в разгар зимы выходили крестьяне-рыбаки из своих сел и деревень и шли на север, на Мурман, и к весне только доходили они до губы Студеного моря, к мысу Святой Нос, и поспевая как раз к весеннему ходу трески. Выходили «вешняки» из села в разгар зимы, когда гудят бураны и трещат морозы, а возвращались в конце августа, а то и в сентябре. До рыбацких становищ добирались они долго и трудно, кто как мог – на лыжах, лошадях, пешком, на оленях. Путь их нелегкий так и назывался в народе – «мурманская дорожка». Шли «вешняки» через пустынные места, заселенные не только своими помощниками, но и лопарями-саами, жилье в пути попадалось редко; рады были «вешняки» переночевать на саамской стоянке, а то и просто в санях. Ветра в тех голых краях дули с севера сильные, студеные, и часто в пургу или особенно лютый мороз рыбаки-«вешняки» замерзали прямо в пути; хоронили их в снегу, без могил, а отпевали уже потом, когда возвращались в родные края. А впереди было море и нелегкий рыбацкий промысел, штормы и туманы, так что и в море Студеном гибли многие. Нередко их еще и на льдинах весенних уносило в океан, откуда уже мало кто возвращался – разве что случайное судно, свое или чужое, заметит и подберет... Два года подряд Василий сходил на «вешний промысел» удачно, вернулся хоть с небольшими, но деньгами, а на третий год ушел зимой и не вернулся осенью. Возвратившиеся в Олениху рыбаки рассказали Василисе, что Василька с товарищами, ловивших треску со льда, ветром внезапным унесло на оторвавшейся льдине в открытую воду, в океан. Света невзвидела бедная вдова, билась три дня, к морю рвалась – за сыном, еле удержали соседи. Потом опомнилась, затихла...

Прошел год, другой. Василиса горюет, плачет, сыночка любимого забыть не может. И вдруг однажды ранним зимним синим вечером – тук-тук-тук! – стучится кто-то в окошко: «Открой, матушка, я с доброй вестью к тебе!» – и на крыльце пимы загрохотали, снег отрясая. Вздогнуло и упало было от радости сердце Василисы, но нет – не Василька это любимый голосок, не его и повадка. Отворилась дверь, и в избу вошел незнакомый человек, явно не бедный: на плечах хороший полушубок из белой овчины, на голове – треух из молодого оленя-пыжика. Стащил незнакомец треух с головы, поклонился трижды в красный угол на иконы, потом один раз – хозяйке да и говорит:

– Ты и есть вдова Василиса, матушка?

– Да, я.

– А сына у тебя Василием зовут?

– Звали Василием... Да утонул мой сынок Василек два года назад, – и заплакала, как водится.

– А вот и не утонул твой Василек! Радуйся, матушка, жив он и здоров! За морем живет и скоро женится, а потом и к тебе в гости придет! – сказал вестник. И тут же имя свое назвал – Трофим.

Поведал Трофим обомлевшей Василисе удивительную историю. Не погиб, оказывается, дорогой ее сыночек, а чудом спасся. «Не иначе как по вашим молитвам, матушка!» – добавил в этом месте Трофим. Лыдина, на которой рыбаков-«вешняков» в море унесло, еще раз раскололась, да так, что на одной ее половине все рыбаки остались, а на другой – один Василий. Хотел он уже в воду броситься, чтобы доплыть до товарищей, но сообразил, что это верная смерть – плыть в ледяной воде на таком студенном ветру: коли и доплывет, так согреться на лыдине будет нечем! И остался он, решил предать себя воле Божьей. И правильно, как оказалось потом, Василий решил: неделю и еще полдня просидел он один на лыдине, оголодал, ел снег, края рукавиц овчинных изжевал, а согревался – молитвой. Много он в эти дни молился – Спасителю, Божьей Матери, Василию Великому, своему небесному покровителю да Николаю Угоднику, защитнику всех ходящих по водам морским. Недаром говорят, что тот не молился, кто в море не бывал. За полдень седьмого дня увидел Василий у окоема небольшое судно-шхуну с двумя склоненными назад мачтами. И со шхуны его тоже заметили, свернули с пути и подняли почти бесчувственного со лыдины. Напоили и растерли его норвежским ромом, закутали в сухую оленью шкуру. Придя в себя, первым делом Василий спросил, куда идет корабль. «В Северную Норвегу!» – ответили ему. – Лес, сало и хлеб возем!» Встрепенулся Василий: «Мне к русскому берегу надо, братцы! Может, лодчонку какую дадите?» Засмеялись моряки: «Нет у нас лишних лодчонок, паря! А идем мы в Варгаев, там наш порт. Но ты не горюй, к русскому берегу мы тоже скоро пойдем, когда рыбу и ром из Норвегии в Россию повезем!» Судно принадлежало русскому купцу, торговавшему между Норвегией и Русью, а жившему в Варгаеве. Купец, а был это отец Трофима, расположился к молодому храброму рыбаку и по прибытии в Норвегу взял его к себе в дом выхаживать: Василий все-таки на лыдине промерз сильно и как в тепле на шхуне оказался, так тут же и расхворался.

Недели две отлеживался он, а потом встал и работу попросил: «Должен я за провоз и заботу хозяину отработать!» Честность такая купцу по нраву пришлась, и начал он Василия, как только тот окреп, к торговому делу приучать. И с Трофимом Василий подружился, стали они не разлей вода, словно дружные родные братья. А боле всего он сестре Трофима Липушке по сердцу пришелся. Года не прошло, как заметил купец, что между молодыми пошли переглядюшки, подумал да и благословил их на честный брак, уж очень ему молодой помор понравился. Только велел он и у матери Василия тоже благословение получить. «Как хочешь, так и добудь, а чтобы мне благословение от матери твоей было!»

– И вот, матушка Василиса, вскоре послал меня отец с обозом норвежской рыбы в Санкт-Петербург, по «мурманской дорожке», а Василий и говорит: «Выручай, брат Трофимушка!» –

и попросил он меня по дороге в село Олениха завернуть, оно, мол, по дороге, его все рыбаки-поморы знают. Так и оказалось, легко я тебя нашел. Так что просит тебя, матушка, твой сын Василий вышить ему его праздничную красную рубаху васильками – это и будет, сказал, ему от тебя на свадьбу материнское благословение! Так что на обратном пути из Петербурга я снова к тебе заеду, ближе к Пасхе, и рубаху, вышитую для Василька, заберу. Свадьба-то у него с сестренкой моей на Красную Горку назначена, так что ты уж поспеши с рукодельем-то!..

Переночевал Трофим в избе у Василисы как у будущей родственницы, а наутро ушел с обозом в Петербург. А Василиса достала из сундука красную шелковую рубаху сына, которую он только на Пасху надевал в Божью Церковь, достала и моточек синего шелка, иголку, села на лавку под окошком, где светлее, да и призадумалась. Сомнения ее стали одолевать: уж больно складная да гладкая история у Трофима вышла! Уж не лихой ли он обманщик, который решил хитростью выманить дорогую шелковую рубаху у бедной вдовы да еще и заставить ее расшивать рубаху ту заветную цветами-васильками? А ну как никакого купца в Норвеге с дочерью-невестой вовсе и нет?

Сидит Василиса у окна с красной рубахой на коленях: вышьет один василек – и отложит рубаху, сына вспомнит и не верит, что жив он и ждет от нее шелковую красную рубаху с синими васильками, материнское ее благословение на свадьбу. Заплачет она, бросит свое рукоделье и уйдет на берег моря Студеного о сыне горевать да плакать. Потом опомнится: «Да что ж это я? Время-то идет, а у меня еще и ворот не готов, а ведь еще и рукава расшить надо!» – бросится домой, схватит иголку и снова шить. Пошьет немного, и опять сомнительные думы ее одолевают. И сына, коли жив он, ей жаль – как же он без ее материнского благословения под венец невесту поведет? – но и трудов своих напрасных жаль, а главное – обидно за обман, да и рубаху шелковую лихому человеку отдавать задарма нет охоты! Так, говорят, все сидела и сомневалась... Может, и до сих пор сидит, сомневается.

* * *

– Ну, а конец-то у сказки какой? – спросила Татьяна, слушавшая меня с детским вниманием, вся захваченная нехитрой поморской историей. – Не может старая сказка так неопределенно кончаться, это ж не новомодный психологический роман, где финал остается открытым из литературного кокетства!

– А вот, представь, не знаю! – схитрила я. – Не помню! Ты уж сама конец сказки придумай, Танюша! – И с этими словами я подругу свою оставила в размышлениях и уехала к себе в Петербург, домой.

Но вам я расскажу конец истории самой Татьяны. Вернувшись в Санкт-Петербург, я как-то закрутилась в делах и не сразу позвонила ей, а когда наконец собралась – не застала ее дома. Потом, уже месяца два спустя, она сама мне позвонила и сказала, что все еще думает над концом поморской сказки. А еще сказала, что побывала она за это время паломницей в двух святых местах – в Трифоновом мужском монастыре и в женском Христорождественском, в своей Вятской епархии. Мне показалось, что голос у нее стал намного спокойней, не такой измученный и без этих отчаянных высоких нот.

Через год я получила от Танюши письмо, а в конверте были: открытка с видом Христорождественского монастыря и красная шелковая закладка для книги с вышитым на ней синим васильком. Письмо на открытке было очень короткое: «Спасибо за поморскую сказку, дорогая, она меня вразумила. Сейчас я живу трудницей при обители, что будет со мной дальше, пока не знаю. Но красную рубаху я прилежно расшиваю васильками, а один из них дарю тебе на молитвенную память о нас с Владиком. Твоя любящая р. Б. Татьяна».

Ну конечно, и у старинной сказки должен быть определенный конец и желательно хороший, иначе что же это за сказка, правда?

Закончила вдова Василиса сыну свадебную рубаху и отправила Васильку с названным братом Трофимом. А по осени сынок и сам приехал за родимой матушкой и увез ее к себе жить.

Данилкины жемчужинки

Сон маленького мальчика

У пятилетнего Данилки случилась самая большая беда, какая только может случиться у мальчика или девочки, – у него умерла мама. Болела, болела и умерла. Сначала Данилка ходил как пришибленный: он как-то и понять не мог, что же такое случилось с его мамочкой, почему ее больше нет ни дома, ни в больнице, ни на улице возле дома? Он все оглядывался и прислушивался, и никак не мог поверить в то, что это его настоящая мама лежала в том длинном коричневом ящике с оборочками, который чужие дяденьки накрыли крышкой, заколотили гвоздями, а потом зарыли в землю. Он чувствовал, что это не так, что это неправда, но спорить со взрослыми он не умел и не хотел – не до того было Данилке. Он просто сидел часами на одном месте и все ждал и ждал, что его позовут и повезут к маме в больницу. Или она сама появится, подойдет к нему, сядет рядом, обнимет его и скажет:

– Данилка, это же неправда! Я не умерла!

Но мама все не приходила и не приходила.

Иногда он начинал плакать, но тут кто-нибудь из взрослых, даже папа, говорил ему:

– Не плачь, Данила, будь мужчиной! Слезами горю не поможешь!

Данилка и сам изо всех сил крепился и не плакал. А для этого лучше всего было сидеть на одном месте, смотреть в одну точку и стараться ни о чем не вспоминать и даже ни о чем не думать. А это было неправильно! Но некому было объяснить бедному Данилке, что он делает не так и почему это неправильно.

И вот тогда, видя эту беду, решил Данилкин Ангел Хранитель, что пора ему вмешаться. Взял он и приснился как-то ночью Данилке. Встал перед ним – лицо светлое, крылья белые, стихарь – это форма такая ангельская – переливается всеми цветами радуги.

– Здравствуй, Даниил! – говорит во сне Ангел Хранитель Данилке. «Даниил» – это было Данилкино полное имя, данное ему при Крещении.

– Здравствуйте, – отвечает, тоже во сне и вежливо, как его мама с папой учили, Данилка. – А вы кто?

– Я твой Ангел Хранитель. Пришел я поговорить с тобой.

Данилка в ответ промолчал – он не знал, о чем можно с Ангелами разговаривать.

– Слышал я, Данилка, что тебе взрослые советуют о маме твоей не плакать.

– Они... Они говорят, что я маму слезами огорчаю. А я вовсе не хочу ее огорчать! Только это очень трудно и вот тут, – он погладил себя по груди, – очень больно – не плакать, когда хочется, – ответил честно Данилка, и слезы тут же подступили у него к глазам и к горлу, да так близко, что он и во сне чуть не заплакал в голос. Но сдержался – как обычно старался сдерживаться. И ему опять стало больно в груди и в горле.

– А как ты думаешь, Данилка ты мой, для чего даны человеку слезы? – спросил Ангел.

– Не знаю... Раньше я думал, что это для того, чтобы показать, что тебя пора пожалеть.

– Правильно ты думал, Даниил. Когда один человек, особенно маленький, плачет, а другой, тем более взрослый, его жалеет – сразу половина боли проходит. Так?

– Так. Я когда совсем маленький был, никогда не плакал сразу, чтобы слезы зря не тратить. Я сначала бежал к маме, добежал до нее и тогда уже начинал плакать. Мама брала меня на руки, жалела, дула на коленку – и разбитая коленка сразу переставала болеть.

– Вот видишь, получается, что слезы вызывают жалость и сочувствие – и этим снимают боль. Как будто смывают ее. Так вот и в горе, Даниил. Слезы тебе для того и даны, чтобы

без всяких слов сказать другим людям: помогите мне! Чтобы близкие помогли тебе своим сочувствием. Когда горе настоящее, слез не надо стыдиться. Ты меня понимаешь?

– Не очень, – честно ответил Данилка.

– Ну хорошо. Тогда я тебе просто покажу, что такое твои слезы о маме. Давай мы вот что сделаем, Данилка, – мы с тобой поплачем о твоей мамочке вместе! Вставай с постели!

Данилка послушно встал.

– Хорошо, что у тебя в комнате висит икона Божьей Матери, нам далеко идти не надо! – одобрительно сказал Ангел. – Становись рядом и давай плакать вместе. Ну, плачь, не бойся и не стесняйся! – и Ангел обнял Данилку за плечи и прижал к себе. И, конечно, Данилка сразу же заревел, а слезы побежали у него по щекам и закапали... Но не на пол они закапали, а прямо в подставленную ладонь Ангела.

Данилка плакал и приговаривал:

– Мамочка моя! Ты куда ушла? Мне без тебя так плохо-плохо, мамочка!

И хотя он жаловался и говорил о том, как ему плохо, на самом деле ему становилось все легче и легче! То ли потому, что уж очень много невыплаканных слез у него внутри накопилось, то ли потому, что Ангел его так ласково гладил по плечам. Он плакал и плакал... А потом стал переставать, потому что слезы у него как-то кончились, и он уже только всхлипывал да вздыхал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.